

## Глава 7. «Новые старые» русские люди глазами М.Е. Салтыкова-Щедрина

Содержательно говорить о философско-художественном анализе российской действительности, представленном в творчестве **Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826 - 1889)** возможно, лишь сделав некоторые предваряющие замечания.

Во-первых, потому, что писатель нередко сам называет свои произведения «исследованиями»<sup>1</sup> и, значит, мы можем в определенной мере относиться к ним именно как к таковым. Сформулированная таким образом творческая задача художника, к примеру, нашла свое отражение в нетрадиционности жанра одного из классических произведений Щедрина «Господа ташкентцы» (1869), которое, по литературоведческой характеристике, «колеблется между» циклом очерков и общественным романом<sup>2</sup>. Впрочем, к этому жанру могут быть отнесены и другие произведения Щедрина - «Губернские очерки» (1857), «Помпадурсы и помпадурши» (1863) и «История одного города» (1869).

Само собой, исследование предполагает работу по несколько иным законам, чем законы художественного произведения: в нем, в частности, цель обнаружения истины ставится выше сюжетно-композиционных или нравственно-эстетических задач. К тому, чтобы осуществлять именно философско-художественное исследование Щедрин был готов не только благодаря своим огромным способностям и внутреннему складу, но и тому большому жизненному опыту, который дала ему государственная служба, в том числе и на высоких должностях.

---

<sup>1</sup> Так, например, начинается его введение в текст «Господа ташкентцы. Картины нравов». См.: Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в десяти томах. М., изд-во «Правда», т. 3, с. 67.

<sup>2</sup> Сам Щедрин об этом пишет так: «...В намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники «ташкентства», так и выражение этого явления в действительности». Салтыков-Щедрин М.Е., там же.

Писатель, во-вторых, как правило, обращается к феноменам общероссийского и исторического масштаба. Его герои не просто являются собой типичные образчики отдельных социальных групп, но в своем философско-художественном обобщении дают представление о социально-культурных пластах, характерных для целых общественных укладов страны. Нередко эти представления включены в литературные образы, ставшие знаковыми для отечественной словесности. Таким образом, творческий метод Щедрина был изначально философичен: он шел от явлений к героям, а не наоборот. При этом центр тяжести его рассуждений часто оставался в части анализа именно явлений, что характерно для натур философического склада.

Щедрин, далее, часто ставит своей целью и сугубо философские задачи – например, рассмотреть характеристики русского человека, пребывающего в состоянии как управляющего, так и управляемого, которые ему представляются наиболее значимыми. И адресуется он к ним именно как к таковым.

Проза Щедрина, наконец, может рассматриваться не только сама по себе (что вполне правомерно и так почти всегда и делается), но и более широко – как определенное, очень существенное звено в контексте поисков русского литературного философствования. Так, одна из аналогий, которая приходит на ум, это сравнение щедринского литературного исследования с романским литературно-философским исследованием Тургенева. Но если у автора «Записок охотника» поиск путей будущего развития России связан, как я старался показать ранее, с проблемой позитивного дела, то у автора «Господ ташкентцев», «Сатир в прозе», сказок и «Истории одного города» – иное. Щедрин исследует сам порок, покоящийся в системе управления, взятой как со стороны управляющих, так и, что особенно важно, – управляемых. Он, например, как это будет показано далее, в деталях рассматривает процесс управления губернским обществом разными способами – от вполне варварского, сопряженного с насилием и даже убийствами обывателей, до вполне цивилизованного – посредством вовлечения их в преобразовательные

замыслы либерального толка. Впрочем, на этой последней стезе, никому из градоначальников удержаться не доводится. При либерализме едва начавшее выращиваться в душах обывателей древо гражданственности сжигается новым политическим поворотом и кончает эта история все тем же обычным для русской истории и привычным для населения приказом: «Влепить!»

Сделав эти предварительные замечания, начну рассмотрение творчества Салтыкова-Щедрина не как обычно - с ранних произведений, а с текста, написанного зрелым мастером, - вполне классического цикла «очерков – романа» «Господа ташкентцы. Картины нравов», опубликованного в 1869 году.

\* \* \*

В связи с замечанием о философской цели исследования характеристик русского человека, прежде всего, приведу один из примеров щедринского способа рассмотрения задач такого рода. «В рассказах Глинки (композитора), - пишет Щедрин, - занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, "необыкновенно ясно и дельно" изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором "Торквато Тассо" столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: "Прикажут - завтра же буду акушером".

Ответ этот драгоценен, ибо дает представление о «мере талантливости» и «игры ума» (не знаний, а именно «игры ума», как в одном месте подчеркивает Щедрин) русского человека.

Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от "приказания". Ежели мы не изобрели пороха, - объясняет автор, - то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут - и Россия завтра же

покроется школами и университетами; прикажут - и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.

По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите - и мы изумим мир дерзостными поступками.

Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет "свежести". "Свежесть", в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вождедеющий, - это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с "свежим" человеком какого-нибудь "умника", - и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. "Умник!" - ведь это засоренная голова! это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!»<sup>3</sup>

В связи со сделанным писателем выбором относительно того, о каких характеристиках русского человека он считает целесообразным говорить в первую очередь, отмечу следующее. Этот выбор, как представляется, в принципе может быть обусловлен остротой какой-то конкретной и актуальной жизненной проблемы, которую отчетливо видит автор. Так, живучесть в общественном сознании идей об онтологической

---

<sup>3</sup> Там же, сс. 68 – 69.

«талантливости», «игривости ума» и «свежести» русских имела под собой и определенное мировоззренческое основание. Тезис «для русского человека нет ничего недостижимого, нужно только приказать» охотно разделялся многими идеологами - почвенниками. Они всерьез полагали, что для русского человека якобы в силу наличия у русского социума творческой силы в сравнении с «загнивающими» социумами европейскими не требовалось ничего, кроме, говоря словами Щедрина, «чистоты сердца и не вполне поврежденного ума».

К счастью, отмеченное Щедриным столь нелестное наблюдение было не универсальным, а исторически конкретным. Русский человек такого рода, как отмечает сам автор «Господ ташкентцев», мог быть субъектом только одного переживаемого Россией общественного состояния - социально-политического строя общественной крепости, давно пережитого Европой. Именно для него была реальностью технология «прикажут – сделаем все, что угодно». И ее реальность объяснялась прежде всего «простотой задач», не только выдвигаемых, но и мыслимых. «...Требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказа и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером»<sup>4</sup>.

Однако как только речь начинала заходить о чем-то сколько-нибудь сложном, требующем знаний, опыта, свободного состояния, равно как и систематического упорного труда, то из всей русской талантливости и готовности выполнить любое приказание образовывалось «пустое место», которое было не просто «пустым местом», но имело свою многострадальную и многовековую историю. И эта история, констатирует Щедрин, не может сослужить нам сколько-нибудь добрую службу в нынешний – то есть, после отмены крепостного права момент, когда «каждому придется жить за собственный счет». Вот в этом – отсутствии собственного багажа,

---

<sup>4</sup> Там же, с. 71.

общественной практики с определенной историей, которую не только сложно технологически, но равно сложно как морально, так и мировоззренчески взять откуда бы то ни было «со стороны» и, смилив гордость, этот факт признать – и заключается реальная российская проблема, отнюдь не «рассосавшаяся» сама собой в истории вплоть до наших дней.

Размышляя о том, как в новых исторических условиях будет эволюционировать русская «талантливость и готовность следовать приказаниям», Щедрин намечает несколько возможных путей ее развития. Среди них – признание, что новые условия закономерны и следует искать способ к ним приспособляться, а, значит, что-то менять в самих себе. Такое решение требует известного ума и потому нереалистично.

Но есть и способ – в самую пору. Согласно ему, «талантливость» предполагает легкие способы решения проблем – типа составления проекта вавилонской башни. И если даже таким путем проблема не решится, то «талантливость» легко перетечет в самые близкие ее пониманию общественные формы - «измену и бунт». Врагов найти! – таково будет решение вопроса. А вслед за обнаружением названных явлений, естественно, следует их благородное «обуздание». «А что же, - спрашивает Щедрин, - кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?»<sup>5</sup>

Для лучшего понимания решения проблем таким способом Щедрин приводит пример. Скажем, начальник департамента призывает к себе столоначальника и дает ему поручение открыть Америку. Для столоначальника закрыт способ, согласно которому «новые условия закономерны и следует искать способ к ним приспособляться», то есть признать, что с этим заданием русские опоздали и Америка уже открыта. Он, конечно, может попытаться заволочить дело – разослать запросы и решить дело «измором». Но это опасно, так как наверняка не понравится директору департамента. А вот привычный способ – врагов найти! - весьма хорош. Ведь

---

<sup>5</sup> Там же, с. 74.

согласно ему, все Колумбы должны быть «обузданы» и «приведены к общему знаменателю». Этот способ решения проблем так близок русскому сердцу! «Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»<sup>6</sup>, - итожит Щедрин.

Намечая контуры теории русского человека сорта «Митрофанушка», (а именно это и делает своими произведениями Щедрин. – С.Н.), мыслитель прежде всего отмечает его историческую укорененность. Она прослеживается как в имени, которое этому явлению дается, так и в отсылках к конкретным фрагментам общественной жизни. Вместе с тем, уже в следующей главе «очерков – романа» Щедрин вводит новое имя – «ташкентцы». Зачем оно понадобилось наряду с уже данными именами митрофанушек и цивилизаторов?

Дело, на мой взгляд, объясняется тем, что этим новым именем называется определенный вид деятельности, к которому в силу разных причин принуждены обратиться митрофанушки. «Ташкентец» у Щедрина – Митрофанушка, занятый просветительской деятельностью. Явление это, ставшее в известном смысле одной из характерных черт общественной жизни России в 60-х – 70-х годах XIX столетия, было знаменем времени. Под этим именем начали осуществляться реформы Александра II, в том числе и непосредственно относящаяся к образованию, университетская реформа. Под этим именем на деревню начали обращать внимание революционные демократы, включая их знаменитые «хождения в народ». Под этим именем в «интеллектуальных и революционных лабораториях» (вспомним о Лаврове, Михайловском, Ткачеве и Чернышевском) стали создаваться труды и проектироваться опыты, имеющие целью обуздать или прервать исторические процессы, «выскочить» из колеи исторического развития, изобрести человека ниоткуда - «нового человека». Естественно, что

---

<sup>6</sup> Там же, с. 76.

находящийся в известном смысле «на острие» государственного просветительского творчества не только в качестве писателя, но и в чине высокого государственного чиновника Щедрин не мог не обратить внимания на это веяние в общественной жизни страны.

Однако «ташкентец» - просветитель не мог быть и не был свободен от родовых связей с Митрофанушкой и потому он прежде всего не какой-нибудь просветитель в определенной сфере, а «просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки, - размышляет Щедрин, - прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. "Ташкентец" во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительной деятельности - просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом»<sup>7</sup>. Так, например, тот просвещенный, который пьет херес «очень старый», считает себя просветителем относительно того, кто пьет херес «просто старый» и т.д. Градацию эту можно перенести во всякую иную сферу – например, «в сравнительную сферу сюртуков и поддевок, ресторанов и харчевен, кокоток, имеющих ложу в бельэтаже, и кокоток, безнадежно пристающих к прохожему в Большой Мещанской и т. п.»<sup>8</sup>

Человек, занимающий низшую ступень в любой подобной иерархии для «просвещения» открыт максимально, ибо у него нет единственного против «просвещения» средства, с помощью которого можно отражать «безазбучное просветительство» – нет знания азбуки. В силу этого «он стоит со всех

---

<sup>7</sup> Там же, с. 85.

<sup>8</sup> Там же.

сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи»<sup>9</sup>.

Ташкент, таким образом, ни в коем случае не есть понятие географическое. «Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданства предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д., - вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: "ай! ай!", свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица снискивающего свою лебеду, человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете»<sup>10</sup>. И далее: «Истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека. Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не огражденное место, а арену для веселонравных походов, есть ташкентец; всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стесняясь, швыряет своим ближним, как неодушевленную вещь, кто видит в нем лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец. Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец...

Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности

---

<sup>9</sup> Там же, с. 86.

<sup>10</sup> Там же, с. 90.

чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными»<sup>11</sup>. Таковой эпохой и было время, последовавшее после отмены в России 19 февраля 1861 года крепостного права.

\* \* \*

В начале произведения Щедрин-повествователь принимает на себя роль героя, от имени которого ведется рассказ, что дает читателю дополнительную возможность проникнуться интимностью рассуждений рассказчика. К этому располагает и сам предмет – цивилизующее начало в России. Герой рассказа – воспитанник одного из военно-учебных заведений слышит об этом уже на первой лекции: «Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением" и т. д. и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображение. Для меня сделалось ясным, что задача России двойственна: во-первых, установить на прочном основании принцип беспрепятственности иллюминаций (политика внутренняя) и во-вторых, откуда-то нечто брать и куда-то нечто передавать (политика внешняя). Если верить московским публицистам, то первая задача уже давным-давно решена. Несмотря на то, что торжества имеют характер праздников переходящих, наше солнце настолько дисциплинировано, что заранее справляется с календарем, когда ему следует играть. Тогда и играет. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мне немало беспокойств. Я слышал и понимал, что тут есть какие-то "плоды", которые следует где-то принимать и куда-то передавать, но что это за "плоды", в каких лесах они растут и каким порядком их передавать, то есть справа ли налево, или слева направо - этого никак не мог взять себе в толк. "Налево кругом!" - раздавалось в моих ушах; но и этот воинственный клич как-то не утешал, а еще пуще раздражал меня.

- Иван Петрович! - спрашивал я почтенного нашего профессора, - зачем же нам передавать чужие плоды, если у нас есть свои собственные?

---

<sup>11</sup> Там же, с. 91.

- Коли у тебя есть, так никто тебе не препятствует! - отвечал Иван Петрович с тем равнодушием, которое в то время одно только и одушевляло наших педагогов и которое, казалось, так и говорило: "Что ты пристаешь ко мне за разъяснениями? Я свое дело сделал: отзвонил - и с колокольни долой!"

- Но откуда брать? Куда передавать? - продолжал я настаивать.

- Придет пора да время - все узнаешь. Скажут: "спасибо" - значит, потрафил; надерут вихор - значит, проштрафился, надо начинать сызнова. - Итак, милостивые государи! находясь на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия самим провидением призвана...

Я страдал невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходил к следующим выводам:

1) что у нас своих плодов нет;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаем: руками взял, руками и отдал - вот и все;

и 3) что мы рискуем при этом быть выдранными за вихор.

Результаты неясные, не удовлетворявшие даже тогдашних моих детских требований...

Но с течением времени самые трудные загадки разгадываются»<sup>12</sup>.

Герой бросается «цивилизовать» на запад, но не найдя там подходящего предмета, устремляется во внутренние губернии России. Вскоре, однако, он убеждается, что и там уже все «процивилизовано». Тем не менее, сделанные наблюдения не пропадают даром и герой начинает формулировать для себя известную закономерность цивилизующего начала. Оно всегда осуществляется под одним и тем же лозунгом – кличем «Жрать!» Поэтому, куда бы оно не было направлено, оно «истребляет туземных баранов и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу

---

<sup>12</sup> Там же, сс. 105 – 106.

стад своих, или те, которые, в возврат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных - просвещение?»<sup>13</sup>

Философски-художественная адресация Щедрина к одной из характерных для российской власти форм взаимодействия с собственным населением-подданными, впервые выполненная им в русской литературе, должна быть отмечена особо. Именно такая форма взаимодействия, во-первых, является родовой, то есть, сопровождает российскую власть на протяжении всего ее существования, лишь время от времени – в связи с историческими условиями – несколько изменяясь. И, во-вторых, обнаруживает своего рода воспитательную функцию, то есть неуклонно формирует, создает для себя население-подданных именно по этому «цивилизаторскому» образцу. В частности, в XX веке мы вновь увидим эту власть за ее «цивилизаторским» занятием в форме ленинского, а затем и сталинского террора, равно как и во времена Хрущева, Брежнева и иных российских правителей. Что же впервые подметил и чем поделился с читателем Щедрин?

Прежде всего, он открывает нам закономерную эволюцию своего героя, от имени которого начато повествование. Оказывается, в молодые годы он и сам был «либералом», то есть с воодушевлением произносил слова: «добро, красота, истина». Под влиянием «идей 48 года» он с друзьями провозглашал: «Время требует величия души!» Но вот ему встретились «нигилисты», которым он не сумел объяснить, зачем нужно стремиться к добру и они подняли его на смех. С тех пор все начало неудержимо меняться, а «после "отрицания" пришло "неуважение авторитетов", потом "безверие", потом "посягательство на чужую собственность", затем еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришел, что я у пристани...»<sup>14</sup>

Вот, например, власти объявили поход против «неблагоденствующих». Кого же следовало причислять к ним? «Если вы имели с вашим соседом

---

<sup>13</sup> Там же, с. 113.

<sup>14</sup> Там же, с. 134.

процесс; если вы дали займы денег и имели неосторожность напомнить об этом; если вы имели несчастье доказать дураку, что он дурак, подлецу - что он подлец, взяточнику - что он взяточник; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали из когтей хищника добычу - это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себе под ногами бездну. Вы припоминали об этих ваших преступлениях и с ужасом ожидали. Не было закоулка, куда бы ни проникла "благонамеренность"...

Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы...

От Перми до Тавриды,  
От хладных финских скал  
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада "благонамеренных", чтобы выместить накипевшие в сердцах обиды...

Они рыскали по стогнам, становились на распутьях и вопили. Обвинялся всякий: от коллежского регистратора до тайного советника включительно. Вся табель о рангах была заподозрена. Сводились счета; все прошлое ликвидировалось сразу... Делалось ясным, что, как бы ни тщился человек быть "благонамеренным", не было убежища, в котором бы не настигала его "благонамеренность" еще более благонамеренная»<sup>15</sup>.

Щедрин приводит несколько примеров «цивилизаторских» акций, предпринятых героем в столице. Вот он с товарищами из специально созданного властями общества «Робкого усилия благонамеренности» глубокой ночью звонит в квартиру одного из «неблагонамеренных», находит его читающим кукую-то физиологическую книгу, с негодованием вырывает ее у «неблагонамеренного» из рук, топчет, а затем забирает «неблагонамеренного» в участок.

В квартире у другого он с удивлением ни одной книги или бумаг не обнаруживает. «Вас изумляет отсутствие книг и бумаг? - поспешил он

---

<sup>15</sup> Там же, с. 140.

объяснить, заметив на моем лице недовольное движение, - но поймите же, наконец, что, начиная с сорок восьмого года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность»<sup>16</sup>.

«Цивилизатору» встречаются разные люди, философствующие, в том числе. Вот, к примеру, примечательная речь одного из «неблагонамеренных». «- Мне кажется, господа, - говорил он, - что вы бьете совсем не туда, куда следует, и что, видя в занятиях умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете последнему упрек, которого оно даже не заслуживает!.. Ужели оно и в самом деле так расслаблено, что не может выдержать напора мысли, и первая вещь, от которой прежде всего необходимо остеречь его, - это преданность интересам мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимее невежество? Почему, когда в обществе возникает какое-нибудь замешательство, первые люди, которые делаются жертвами вашей подозрительности, суть именно люди мысли, люди исследования? Согласитесь, что такое странное явление нельзя даже объяснить иначе, как глубоким презрением, которое вы питаете не только к обществу, но и к самим себе?»

Я слушал его с удовольствием, да и нельзя было иначе, потому что *au fond il y a du vrai dans tout ceci!*.. (в сущности все это правильно!..) Иногда мы действительно пересаливаем и как будто чересчур охотно доказываем миру, что знаменитое хрестоматическое двустишие: "Науки юношей питают" и пр. улетучивается из нас немедленно, как только мы покидаем школьные скамьи.

Я невольно вздохнул при этом соображении.

Он продолжал:

- Допустим, однако же, что наука вредит; но ведь во всяком случае, это такой вред, который доступен только немногим, большинству же не может при этом угрожать ни малейшей опасностью. Вы говорите: общество лишь

---

<sup>16</sup> Там же, с. 137.

тогда может быть счастливо, когда оно невежественно, - прекрасно! Но с чего же вы берете, что эта невежественность так легко доступна для посягательства науки? И ежели общество действительно так невежественно, что считает состояние невежества лучшим залогом своего спокойствия, то как же допустить в нем ту легкомысленную жажду к знанию, которая будто бы до того сильна, что требует каких-то экстраординарных мер для предупреждения увлечения ею?

Удовольствие мое возрастало. Он продолжал:

- Одно что-нибудь: или общество желает знания и, следовательно, может безопасно выдержать его, или оно не терпит знания - и в таком случае, конечно, само постоит за свою святыню, само отобьется от нападений и защитит свое право на свободу от наук. Бояться за общество, столь крепко убежденное, предпринимать искусственные и не всегда ловкие меры для ограждения его, - не значит ли это без надобности волновать его и даже указывать такие просветы, которых оно никогда не увидало бы, не будь вашей бессознательной услуги?

Удовольствие возрастало с каждой минутой. Я думал: ах, если бы так все рассуждали! если бы все понимали, что вместо того, чтобы преследовать науку, лучше всего поступать так, как бы ее совсем не было... Наука! Что такое наука? Parlez-moi de ca! Qu'est-ce que c'est que cette "наука", et ou avez-vous ete peche cet animal-la! (Скажите, пожалуйста! Что это такая за "наука" и где вы выловили это существо!)

Вот, по моему мнению, единственный разговор, который может допустить, по этому поводу, истинно прозорливая внутренняя политика!

Но "он" продолжал:

- Но ведь придется же наконец понять - хоть в этом и тяжело сознаться, что совсем без наук тоже обойтись нельзя; что народы, которые питают к наукам презрение...

"Он" остановился, точно обрезал: очевидно, "он" понял, что я слушал "его" с удовольствием.

- Идемте! - сказал он, надевая на голову картуз.

Марш!»<sup>17</sup>

Герой-«цивилизатор» по собственному признанию «дошел почти до ясновидения и угадывал "негодяев" там, где другие усматривали только действительных статских советников. Но, с другой стороны, эта же возбужденность чувства мешала мне ясно понимать, что в числе множества прихотливых форм, которыми облекается либерализм, есть некоторые, прикасаться к которым не всегда безопасно... Особенные трудности в этом смысле представляют формы, называемые действительными статскими советниками»<sup>18</sup>.

И случилось так, что с одним из своих товарищей он поспорил на то, что при обыске у очередного «неблагоденного» он его прямо на квартире... высечет.

«"Он" был до того виноват, что даже не возражал. "Он" кротко лег и кротко же встал, не испустивши ни стога, ни жалобы.

- Ваша фамилия, ваши занятия? - сурово спросил я.

- Начальник отделения NN департамента, статский советник Перемолов! - отвечал он, упираясь глазами вниз (очевидно, ему было стыдно).

Представьте мое изумление! это был... не "он"!!

Я пытался как-нибудь выпутаться и запутался еще больше. Мне следовало просто-напросто уйти, показав вид, что общественная немезида удовлетворена. Вместо того я уперся, перерыл всю его скардную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мне послужить оправданием. Разумеется, я ничего не нашел, кроме доказательств его душевной невинности... Тогда я стал придираетсяя.

- Но как же осмелились вы, милостивый государь, вводить меня в заблуждение? - накинулся я на него.

---

<sup>17</sup> Там же, сс. 143 – 144.

<sup>18</sup> Там же, с. 147.

Но он уже понял и, убедившись в своей невинности, начал обнаруживать твердость души.

- Нет, это вам так не пройдет! - говорил он, постепенно приходя в раздражение и как бы ободряя себя своим собственным криком. - Нет! это что же? Этак всякий с улицы пришел, распорядился и ушел!.. Нет, это не так!.. В этих делах надо глядеть, да и глядеть...

- Но поймите, что тут вашей вины гораздо больше, нежели моей...

- Ничего я не хочу понимать! Я слишком хорошо понимаю! Это черт знает что! Пришел, распорядился и ушел! Н-н-н-е-ет!

Он вдруг остервенился, начал скакать на меня, подставляя к моему лицу кулаки... Так что даже наконец я оскорбился.

- Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете? - сказал я с достоинством.

- Я его оскорбляю! Милости просим! я! Он со мной, как с младенцем... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ах!

Словом сказать, загородил такую чепуху, что хоть святых вон выноси! Одно мгновение в моей голове мелькнуло: не попросить ли прощения? Но странное дело! я вдруг как-то понял, что это последний мой подвиг, и покорился...»<sup>19</sup> На следующий день героя вызвали к его начальнику - генералу...

Автор подробно сообщает о том, из каких людей и как набираются рекруты в команды «благонамеренных» для производства «цивилизаторских» действий, какие чувства движут этими людьми. Среди таковых прежде всего угадываются жажда власти и предоставляемая этой властью форма самоутверждения через подчинение себе – вплоть до физического – других, более достойных людей.

Впрочем, в прозе Щедрина мы еще не находим анализа внутреннего мира «цивилизатора», не видим его индивидуального лица. Это придет в русское мировоззрение вообще и в литературу, в частности, существенно

---

<sup>19</sup> Там же, сс. 150 – 151.

позднее. А пока философствующий художник Щедрин стремится передать нам в деталях историю становления «цивилизаторов» преимущественно посредством изложения внешней канвы событий.

Этому посвящены и четыре так называемые «параллели» в разделе «Ташкентцы приговорительного класса». Не ставя цели анализировать героев всех четырех глав, остановлюсь лишь на одном персонаже из «параллели второй» - семнадцатилетнем ученике второго (!) класса многолетнем второгоднике Хмылове по прозвищу «палач».

Сын мелкого помещика, обладающего «необузданным нравом» или, как еще характеризует его Щедрин, говоря, что был он «чрез меру лих», Хмылов-младший по своим задаткам способен пойти еще дальше. Он, к примеру, вовсе бесчувствен. Это относится как к переживаниям разного рода, так и к физической боли. Проистекает это от того, что в его собственной семье его почти не замечают даже тогда, когда он приезжает на летние каникулы. Мать заботит только, что он слишком много ест, а отец видит в нем лишь негодный для дома и продолжения семейного дела «предмет».

Преодолевать боль Хмылов вынужден и в «заведении», где порют не только за проступки, но и для профилактики. Впрочем, намереваясь уйти от ненавистной учебы «в полк», Хмылов в своем выработанном бесчувствии видит даже особое качество, для военной жизни необходимое.

« - Вы, маменька, про чувства не говорите со мною», - заявляет он матери в одном из разговоров. «Я даже когда меня дерут - и то стараюсь не чувствовать. У нас урядник Купцов, прямо скажу, шкуру с живого спускает, так если бы тут еще чувствовать...

"Палач" постепенно одушевляется; он ощущает твердую почву под ногами.

- Один раз, - говорит он, - я товарища искалечил, так меня сам инспектор бил. Бьет это, с маху, словно у него бревно под руками, бьет, да тоже вот, как вы, приговаривает: бесчувственный! Так я ему прямо так-таки в лицо и сказал: ежели, говорю, Василий Ипатыч, так бьют, да еще чувствовать...

"Палач" от волнения задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхивает, ноздри раздуваются, и сам он от времени до времени вздрагивает.

- Меня вот товарищи словно волка травят, - продолжает он, - соберутся всей ватагой, да и травят. Так если б я чувствовал, что бы я должен был с ними сделать?

Он смотрит на мать в упор; глаза его сверкают таким диким блеском, что Арина Тимофеевна, не понявшая ни одного слова из всего, что говорил сын, пугается.

- Да ты обалдел, что ли, как на мать-то смотришь! - начинает она, но "палач" уже ничего не слышит.

- Теперича, к примеру, я хочу в юнкера поступить, - гремит он, - так ежели начальство мне скажет: "Хмылов! разорви!" - как, по-вашему? Я и в то время должен какие-нибудь чувства иметь? Извините-с!»<sup>20</sup>

Ну разве не прав «палач»? Разве и в самом деле не пыткой было бы для него «иметь чувства»? Разве может кто-нибудь осудить, и разве было бы справедливо осуждать его за это «бесчувствие»? Похоже, не существует «палач» отдельно от окружающего его мира и потому не существует претензий, которые можно было бы отнести исключительно к нему как отдельной личности. Вот такой рисуется Щедриным «обычная» русская проблема «индивида и среды». И исходя из этого ее реалистического описания становится понятна наивность, школярское нетерпение, равно как и генетическое презрение к народу и влачимо им жизни, которые демонстрировали уже появившиеся и еще обещающие появиться в будущем революционеры всяческих мастей.

\* \* \*

Не всем «русским печальникам» были по нутру жестокие страницы Щедрина. Но без них не было бы многого в истинном понимании России, которую он глубоко любил. Уже в первом крупном произведении

---

<sup>20</sup> Там же, сс. 230 – 231.

«Губернские очерки», появившемся в 1856 – 1857 годах, Щедрин схватывает две важнейшие характеристики современного ему русского мира – его, в философском смысле, «окраинность» и «милую слепоту» как фундаментальные характеристики мировоззрения значительной части его жителей. Избранный им для анализа город Крутогорск – в миниатюре вся Россия. «Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.

И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. Куда ни взглянете вы окрест – лес, луга да степь; степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...

Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, – вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет. Огни зажигаются и в присутственных местах и в остроге, стоящих на обрыве, и в тех лачужках, которые лепятся тесно, внизу, подле самой воды; весь берег кажется усеянным огнями. И бог знает почему, вследствие ли душевной усталости или просто от дорожного утомления, и острог и присутственные места кажутся вам приютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всеобщей; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто весь воздух полон чудной музыки, как будто все вокруг вас живет и дышит; и если вы когда-нибудь были ребенком, если у вас было детство, оно с изумительною подробностью встанет перед вами; и внезапно воскреснет в вашем сердце вся его свежесть, вся его

впечатлительность, все верования, вся эта милая слепота, которую впоследствии рассеял опыт и которая так долго и так всецело утешала ваше существование»<sup>21</sup>.

Отмечу сразу бросающееся в глаза, очевидное: ту же самую тональность и даже тождество определенного типа русского мировосприятия, отмечаемого Гоголем в «Старосветских помещиках» (откуда, собственно, и происходят «Филемон» - Афанасий Иванович и «Бавкида» - Пульхерия Ивановна), Тургеневым в некоторых рассказах «Записок охотника» и в образах Фимушки и Фомушки Субочевых в романе «Новь», а также Гончаровым в «Обломове». «Кротость и мягкость», «милая слепота», нежелание куда-то стремиться и что-то делать, тем более – преобразовывать, - вот одна из сторон патриархального русского мира и сопутствующего ему мировоззрения. «Вы видите, вы чувствуете, что здесь человек доволен и счастлив, что он простодушен и открыт именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Он знает: что бы ни выпало на его долю - горе ли, радость ли, - все это его родное, его собственное, и не ропщет. Иногда только он промолвит: "Господи! кабы не было блох да станowych, что бы это за рай, а не жизнь была!" - вздохнет и смирится пред рукою Промысла, соделавшего и Киферона, птицу сладкогласную, и гадов разных»<sup>22</sup>. И не требуется ему по большому счету ни плодов производить, чтобы «передавать их» с Запада на Восток или с Востока – на Запад, да и вообще общаться с внешним миром. Потому так и распространены в России мнения о том, что Запад, например, – гнилой и тлетворный, а мы «особые», умом не постижимые и только вере подвластные.

Для этой изоляции и государственная машина приспособлена. Здесь же, в философской прелюдии - во введении к «Губернским очеркам» есть эпизод, в котором описывается, как получили чиновники бумагу, читали – читали, ничего не поняли. Что делать? Позвали архивариуса (знаменательная фигура

---

<sup>21</sup> Там же, т. 1, сс. 27 – 28.

<sup>22</sup> Там же, с. 31.

– «хранитель старины», то есть, в философском смысле, адресовались к опыту предков). «"Понимаешь?" - спрашиваем мы. "Понимать не понимаю, а отвечать могу". Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили»<sup>23</sup>.

А вот и еще одно обстоятельство, поддерживающее существование русского патриархального типа мировосприятия – воспетая всеми великими отечественными литераторами русская дорога. Дорога, которая предназначена не столько для передвижения, тем более – активного промышленного, сколько для сообщений между ближними соседями, да и то в состоянии рассеянности или мечтательности путников, по ней едущих. И все же: «Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее теплое время, если притом предстоящие вам переезды неуютительны, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы переждать полуденный зной, или же вечером, чтобы побродить по окрестности, - дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе<sup>24</sup>; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик, добродушный молодой парень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймляемые лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадаете по дороге починок из двух-трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа, и опять поля, опять лес, земли-то, земли-то! то-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине!

---

<sup>23</sup> Там же, с. 33.

<sup>24</sup> Повозка в виде огромного корыта, концами своими уставленном на ее передке и задке, в которое набрасывались как попало сено, перины, одеяла и подушки, и сверх которых громоздился путник. Такая конструкция предохраняла от нескончаемых беспокойных толчков, в ней сладко было отдыхать. – С.Н.

Однако вот и станция; вы утомлены немного, но это - то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами развертывается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так цельно и полно сохранился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уж близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суэта проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых коров; девчонка лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоня теленка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычанья до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано, деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики, да и те позевывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами отправляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но - о чудо! - цивилизация и здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса.

- Как тебя зовут? - спрашивает один голос.

- Кого? - отвечает другой.

- Тебя.

- Меня-то?

- Ну да, тебя.

- Зовут-то?

- Ах, чтоб тебя...

- Раздаются аплодисменты<sup>25</sup>.

- Аким, Аким Сергеев, - торопливо отвечает голос. Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что происходит у вас в соседях, и

---

<sup>25</sup> Пощечины – С.Н.

узнаете, что еще перед вами приехал сюда становой для производства следствия да вот так-то день-деньской и мается.

Вам внезапно делается грустно, и вы поспешно велите закладывать лошадей.

И снова перед вами дорога, снова свежий ветер нежит ваше лицо, снова обнимает вас тот прозрачный полумрак, который на севере заменяет летние ночи. А полный месяц кротко и мягко освещает всю окрестность, над которою вьется, как пар, легкий ночной туман...»<sup>26</sup>

Впрочем, рассуждать о достоинствах и недостатках русской дороги безотносительно к личности повествователя дело ошибочное. Дорога – не столько материальный объект, обладающий конкретными характеристиками сам по себе, сколько обстоятельства, создающие для русского человека возможность переживать те или иные, в том числе и глубоко личностные состояния. Она всего лишь условие, как ручка в руке пишущего, позволяющая беспрепятственно пролиться на бумагу его мыслям и чувствам. Дорога в такой же мере и состояние, при котором переживания и мысли едущего по ней русского принимают определенные направления своего течения, рождая определенные образы, в том числе, а, может, и главным образом, извлекая их из памяти, из запасников лично пережитого.

Дорога «не представляет никаких привлекательных качеств, за которые следовало бы ее любить... По всему протяжению ее идет жестокий и по местам, в полном смысле слова, изуродованный мостовник, на котором и патентованные железные оси ломаются без малейших усилий. В тех немногих местах, где тиранство мостовника исчезает, колеса экипажа глубоко врезаются или в сыпучие пески, или в глубокую, клейкую грязь. Одним словом, это именно такая дорога, от которой, при частой езде, можно поглупеть, вследствие сильных толчков в темя и в затылок. И за всю эту пытку путник ниоткуда не получает никакого вознаграждения; ничто не привлекает его взора, ничто не ласкает его уха, а обоняние поражается даже

---

<sup>26</sup> Там же, сс. 33 – 35.

весьма неприятно. По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших елок, который в простонародье слывет под именем "паршивого"; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растет, а сменяющая ее по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поет больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоприятные туманы, которые, особливо по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю ее. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние»<sup>27</sup>.

В середине XIX столетия в русский мир начинают входить капиталистические реалии. Вместе с ними понемногу трансформируется патриархальный быт, система взаимоотношений, само мировоззрение жителей. Постепенно отодвигается в прошлое «милая слепота». Правда, на ее место чаще всего не приходит нечто лучшее. Глядя на «новых» людей в изображении Щедрина и в самом деле иногда хочется пожалеть об

---

<sup>27</sup> Там же, сс. 181 – 182.

«уходящей натуре», тех же старосветских помещиках. Обратимся к нескольким рассказов «Губернских очерков», в которых изображаются «новые» люди, рисуются картины новых нравов.

В очерке «Госпожа Музовкина» перед нами предстает хозяин постоянного двора Аким Прохоров, глубокий старик «ста годков с небольшим», окруженный многочисленным семейством, в том числе - произошедшим от шести сыновей, младшему из которых не менее пятидесяти. Не напоминают ли они тургеневского Хоря с его хутором, все обитатели которого его, Хоря, дети и родственники? Или может быть он похож на семейство крепкого крестьянина старика Дутлова из рассказа Льва Толстого «Утро помещика»? Теперь, с изменившимся временем, если эти персонажи и кажутся нам похожими, то только на первый взгляд. В частности, потому, что второй сын старика Акима Прохорова – Кузьма уже давно управляет графскими людьми в Москве. Отрезанный ломоть, с которым отец не знает что делать, потому как справедливо опасается, что после его смерти Кузьма «обидит» своих братьев. И потому задумал Аким произвести раздел при жизни. Однако Кузьма против. После смерти отца он, как второй по старшинству, готов отодвинуть от прямого наследования старшего сына, своего брата, объявив его, очевидно, не без помощи графа, «малоумным». Отец увещевает Кузьму не делать худого дела. Но доводы Кузьмы просты: «Нет, говорит, воля твоя, батюшка, святая, а только уж больно у тебя хозяйство хорошо! Хочу, говорит, надо всем сам головой быть, а Ванюшку не пущу!»<sup>28</sup> Конечно, подобное наверняка случалось и в прежние патриархальные времена, однако если бы это явление было сколько-нибудь значительным, то, по всей вероятности, оно не осталось бы незамеченным ни Тургеневым, ни Толстым.

То, что такого рода явления все больше становятся характерной отличительной приметой именно времени раннего русского капитализма Щедрин подтверждает и другими очерками. К примеру, Марья Петровна Музовкина. Она - потомственная дворянка, однако, преследуя цель

---

<sup>28</sup> Там же, с. 186.

выклянчить у повествователя деньги, без колебаний идет на унижение, в частности, характеризует себя вполне в духе героя Достоевского – сына Лизаветы смердящей - Смердякова: «я имею счастье быть лично известною вашим папеньке-маменьке... конечно, перед ними я все равно, что червь пресмыкающийся, даже меньше того...»<sup>29</sup> Ее попытка случайно срывается из-за появления приятеля повествователя, который давно живет в уезде, прекрасно осведомлен о похождениях «потомственной дворянки» и иначе как Скорпионой Аспидовной Музовкину не называет. В итоге повествователь в вспомоществовании отказывает и разгневанная Марья Петровна подает на него прошение в суд, в котором «изображает»: «Такого-то числа, месяца и года, собравшись я, по усердию моему, на поклонение св. мощам в \*\*\* монастырь, встречена была на постоялом дворе, в деревне Офониной, здешним помещиком, господином Николаем Ивановичем Щедриным, который, увлекши меня в горницу... (следовали обвинительные пункты).

И потому о таком насильственном со мною поступке господина помещика Щедрина, доводя до сведения \*\*\* уездного суда"»<sup>30</sup> ...

А вот старинный, с юношеских лет, приятель повествователя Павел Петрович Лузгин безвыездно, больше полутора десятков лет, живущий в своем имении. Оказавшись по делам службы в уезде, повествователь заезжает к нему в гости. В разговоре выясняется, что приятель Лузгина – Кречетов ведет тяжбу и Лузгин обращается к гостю с просьбой «как-нибудь» оказать ему содействие: иными словами - обойти закон.

«- То есть вам желательно бы было, чтобы в вашу пользу смошенничали?

- Э, брат, как ты резко выражаешься! - сказал Лузгин с видимым неудовольствием, - кто же тут говорит о мошенничествах! а тебя просят, нельзя ли *направить* дело.

- Да я-то что ж могу тут сделать?

---

<sup>29</sup> Там же, с. 187.

<sup>30</sup> Там же, с. 194.

- А ты возьми в толк, - человек-то он какой! золото, а не человек! для *такого человека душу* прозакладывать можно, а не то что мельницу без торгов отдать!

- Да я-то все-таки тут ничего не могу.

- Э, любезный! дрянь ты после этого!

... Принесли водки; Лузгин начал как-то мрачно осушать рюмку за рюмкой; даже Кречетов, который должен был привыкнуть к подобного рода сценам, смотрел на него с тайным страхом.

- А ты не будешь пить? - спросил меня Лузгин.

- Нет, я не пью.

- Разумеется, разумеется - куда ж тебе пить? Пьют только свиньи, как мы... выпьем, брат, Василий Иваныч!

Мне приходилось из рук вон неловко. С одной стороны, я чувствовал себя совершенно лишним, с другой стороны, мне как-то неприятно было так разительно обмануться в моих ожиданиях»<sup>31</sup>.

Нельзя сказать, что создавая подобные примечательные портреты, Щедрин порицает или презирает своих героев. Он исследует, притом использует всякую возможность для того, чтобы понять их характер, поведение и открывающиеся жизнью возможности или, напротив, разобраться в том, как прежние устремления угасают. В очерке «Скука» свои критические наблюдения он дополняет размышлениями о том, как ко многим, прежде уповавшим на прогресс, со временем приходит обратное - примирение с действительностью: «...Примирение совершается вообще очень просто. Оглядишься вокруг себя, всмотришься в окружающих людей, и поневоле сознаешь, что все они, право, недурные ребята. Они не глупы - и это первый пункт; они гостеприимны и общежительны, а стало быть, и добры - это второй пункт; они бедны и сверх того снабжены семействами, и потому самое чувство самосохранения вынуждает их заботиться о средствах к существованию, каковы бы ни были эти средства, - это третий пункт.

---

<sup>31</sup> Там же, сс. 334 - 335.

Рассудок без труда принимает эти причины и удовлетворяется ими. Ибо что сказать против них? Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вам всегда готов очень простой ответ: человек такое животное, которое, без одежды и пищи, ни под каким видом существовать не может. Понятно? следовательно...

Отчего же, несмотря на убедительность этих доводов, все-таки ощущается какая-то неловкость в то самое время, когда они представляются уму с такою ясностью? Несомненно, что эти люди правы, говорите вы себе, но тем не менее действительность представляет такое разнообразное сплетение гнусности и безобразия, что чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце... Кто ж виноват в этом? Где причина этому явлению?

- В воздухе, - отвечает мне искреннейший мой друг, Яков Петрович, тот самый, который изобрел *хвещов* и мазь для ращения конских волос на человеческих головах.

В воздухе! да не может же быть, чтоб весь воздух был до такой степени заражен гнилыми миазмами, чтоб не было никаких средств очистить его от них. Прочь их, эти испарения, которые не даютдохнуть свободно, которые заражают даже самого здорового человека!

- Э, батюшка, нам с вами вдвоем всего на свой лад не переделать! - отвечает мне тот же изобретатель растительной мази, - а вот лучше выпьем-ка водочки, закусим селедочкой да сыграем пулечку в вистик: печаль-то как рукой снимет!

Ну, и выпьем...

...Выпили мы по рюмочке, и подлинно, я прозрел.

А всему виной моя самонадеянность... Я думал, в кичливом самообольщении, что нет той силы, которая может сломить энергию мысли, энергию воли! И вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения. И так просто!

почти без борьбы! потому что какая же может быть борьба с явлениями, заключающими в себе лишь чисто отрицательные качества?»<sup>32</sup>

Правда, примирение не всегда возможно для людей, которые когда-то все же проявляли несогласие с действительностью, в помыслах или в реальности восставали против нее и так и не приучили себя мириться, по словам другого классика, со «свинцовыми мерзостями жизни». Но для общества это уже скандал, до которого допускать нельзя. Потому-то и культивируется в нем в явном и неявном виде особое состояние человека - покорность. Щедрин – чиновник, исследователь и художник прекрасно сознает это и потому много внимания уделяет рассмотрению этого феномена, используя, в том числе, и собственный опыт.

Во-первых, о покорности повествователю говорили, начиная с детских лет. Ему внушали, что «покорностью цветут города, благоденствуют селения, что она дает силу и крепость недужному на одре смерти, бодрость и надежду истомленному работой и голодом, смягчает сердца великих и сильных, открывает двери темницы забытому узнику...

- Загляните в скрижали истории, - говаривал мне воспитатель мой, студент т - ской семинарии, - загляните в скрижали истории, и вы убедитесь, что тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса. Процветают у него искусства и науки; конечно, и те и другие составляют достояние только немногих избранных, но он, погруженный в невежество, не знает, как налюбоваться, как нагордиться тем, что эти избранные - граждане его страны: "Это, - говорит он, - мои искусства, мои науки!" Произведения его фабрик, его промышленности первенствуют на всех рынках; нет нужды, что он сам одет в рубище: он видит только, что его торговля овладела целым миром, все ему удивляются, все завидуют, и вот, в порыве законной гордости, он восклицает: "О, какой я богатый, довольный и благоденствующий народ!"

---

<sup>32</sup> Там же, сс. 260 – 262.

Посмотрите на этого юношу: он только что сошел с школьной скамьи; вид его скромн, щеки розовы, поступь плавна и благонаравна, глаза опущены вниз... Он получил чудесный аттестат от своих наставников и воспитателей; успехи его были отличные, нравственность беспримерная; нет того балла, нет той цифры, которою можно было бы выразить удовольствие начальников. Где же ключ ко всему этому? где, как не в том, что этот юноша - покорный юноша? Он беспрекословно выучивал наизусть заданные странички, от "мы прошлый раз сказали" до "об этом мы скажем в следующий раз"; он аккуратно в девять часов снимал с себя курточку, и хотя не всегда имел желание почивать, но, во всяком случае, благонаравно закрывал глазки и удерживал свое ровненькое дыханьице, чтобы оно как-нибудь не оскорбило деликатного слуха его наставника... О, это преблаговоспитанненькое дитя, самое покорненькое дитя на свете! Для него не существовало ни стола, ни стула, ни книги, а было: "стульчик", "столик", "книжечка"; он никогда не бегал, не суетился, его не видали ни распотевшим, ни раскрасневшимся... В глазах его, правда, не видно блеску, не видно огня молодости... но зато какая покорность! Боже, какая покорность! О, дайте мне расцеловать его, дайте обнять его, это милое, *покорное дитя!*»<sup>33</sup>

Покорное дитя, далее, превращается в покорного юношу, а затем и во взрослого, в чиновника, например. Покорно выслушивая наставления начальника, он пронизывается его пронизательностью, глубокомыслием, обширностью взглядов. Постепенно он вмещает в себя премудрости бюрократии. Какой труд являет его любая крохотная мысль, в которую упаковываются громаднейшие помыслы, величайшие начинания, необъятнейшие планы. И во всем, кроме выражения чувств преданности и покорности, он отменно краток.

Покорность, наконец, не синоним чего-то низменного. «Покорность не значит подлость, не значит искательство и низкопоклонничество, не значит слабоумие и апатия; покорность не наушничество, не лукавство исподтишка,

---

<sup>33</sup> Там же, сс. 262 – 263.

не лицемерие... Это особая, своеобразная добродетель, с помощью которой человек многое выигрывает и ровно ничего не проигрывает»<sup>34</sup>.

В особенности благодатное место для культивирования чувства покорности представляет собой русская провинциальная среда. Повествователь вспоминает, что когда он ехал в Крутогорск, то, казалось, в самой случайности выбора для него этого городка нашло свое проявление высшее предопределение. Он готовился найти и положить «на алтарь Отечества» ту частичку пользы, которую мог найти и положить именно он. Сколько свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины излучала сама его личность! И вот, по прошествии времени, какие перемены инициированы, какие подвиги совершены? И льются горькие слова о русской провинции, о России:

«О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать! Ибо можно ли называть желаниями те мелкие вожделения, исключительно направленные к материяльной стороне жизни, к доставлению крошечных удобств, которые имеют то неоцененное достоинство, что устраняют всякий повод для тревог души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается, какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Когда человек испытывает горькую нужду, когда вместе с тем все вокруг него свидетельствует о благах жизни, все призывает к ней, тогда нет возможности не пробуждаться даже самой сонной натуре. Воображение работает, самолюбие страждет, зависть кипит в сердце, и вот совершаются те великие подвиги ума и воли человеческой, которым так искренно дивится покорная гению толпа. Что нужды, что подготовительные работы к ним смочены слезами и кровавым потом; что нужды, что не одно, быть может, проклятие сорвалось с уст труженика, что горьки были его искания, горьки

---

<sup>34</sup> Там же, сс. 263 - 264.

нужды, горьки обманутые надежды: он жил в это время, он ощущал себя человеком, хотя и страдал...

Да; жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погружается он в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же добрые люди, и живут весело - ну, и сам станешь жить весело.

О, вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которых оставляют жить и которые оставляете жить других, - завидую вам! И если когда-нибудь придется вам горько и вы усомнитесь в вашем счастье, вспомните, что есть иной мир, мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк - и горе вам, если вы тотчас не поспешите подписать удовольствие вечному истцу вашей жизни - обществу!»<sup>35</sup>

Провинция гнетет и гнет человека до тех пор, пока не сделает совершенно покорным себе или не сломает. В своем воздействии на человека провинция – это, говоря словами «крутогорского Мефистофиля», - сплошной «фатализм», когда каждый член общества не только догадывается, но «безошибочно знает, что думает в известную минуту его сосед...» А Крутогорск (провинциальная Россия) – это не страшилище, каким его в своей интерпретации пытались иногда изобразить русские писатели, Гоголь, например, а, согласно Щедрина, «помойная таки яма порядочная!.. И какие зловонные испарения от нее поднимаются, если б вы знали!»<sup>36</sup>

Что же это за явление, выступающее в русском мировоззрении под разными именами – «среда», которая «заедает», «сила обстоятельств», которая доминирует над личностью, «общество», чьи «суждения только и

---

<sup>35</sup> Там же, сс. 264 – 265.

<sup>36</sup> Там же, с. 313.

святы» или «провинция», наконец? Да мало ли какими еще именами в русской мысли называется этот феномен?

Дело, однако, как представляется, не столько в феномене «провинции – среды» как таковом, сколько в том его содержании, которое наследует или принимает для себя как нечто непреодолимое каждый индивид. Необходимость отказываться от собственного видения мира, от сообразного своим понятиям и психике поведения<sup>37</sup>, в конечном счете, от собственного мышления и, одновременно, необходимость обретения покорности в качестве одного из своих главных свойств, - все это проявления более общего явления – несвободы человека, его крепостного ли, жалованного прижизненного или наследственного дворянского состояния, любой формы зависимости вообще. В любом случае названные проявления несвободы – коренные, атрибутивные качества человека материально и духовно обусловленного чем-то или кем-то извне, существующего в авторитарном обществе. Если ему «повезло» и он появляется на свет в слое, приближенном к верховному правителю, то он вместе с набором необходимых степеней покорности наследует и некоторый набор «свобод», определяющих его поведение по отношению к тем, кто «располагается» в нижних этажах иерархии. Если же «не повезло», то «сила обстоятельств» включается в полной мере и заставляет приспособливаться, в частности, вырабатывать в себе универсальную и спасительную покорность.

Конечно, в обоих случаях человек может попытаться противостоять «наследственности», «среде» или той же самой «провинции». Но это требует мужества и мужества постоянного. Надолго ли хватает его? Чаще всего, если оно и было, то увядает вместе с юностью. Вспоминает об этом и повествователь: «Были, однако ж, и у меня иные времена, окружали меня иные люди - все иное! Были глубокие верования, горячие убеждения, была страсть к добру... куда все это девалось?

---

<sup>37</sup> В этой связи Щедрин так говорит об одном персонаже: он «...усердно смеется, когда того требуют обстоятельства или когда видит, что другие смеются». Там же, с. 357

Где-то вы, друзья и товарищи моей молодости? Ведете ли, как и я, безрадостную скитальческую жизнь или же утонули в отличиях, погрязли в почестях и с улыбкой самодовольствия посматриваете на бедных тружеников, робко проходящих мимо вас с понуренными головами? Многие ли из вас бодро выдержали пытку жизни, не смирились перед гнетущею силою обстоятельств, не прониклись духом праздности, уныния и любоначалаия?

Господи! неужели нужно, чтоб обстоятельства вечно гнели и покалывали человека, чтоб не дать заснуть в нем энергии, чтобы не дать замереть той страстности стремлений, которая горит на дне души, поддерживаемая каким-то неугасаемым огнем? Ужели вечно нужны будут страдания, вечно вопли, вечно скорби, чтобы сохранить в человеке чистоту мысли, чистоту верования?»<sup>38</sup>

«Новые» люди не возникают, как это мечталось революционным демократам от чтения социалистической литературы. Они – хотя и первый, но все же продукт предкапиталистической и раннекапиталистической эпохи, органически прорастают из времени предшествующего, из людей «старых». Вот, например, Владимир Константиныч Буеракин, герой одноименного очерка, сын богатых и благородных родителей, отец которого был «усердным помещиком». Усердие это, однако, было всего лишь баловством, данью моде, желанию слыть за оригинала. И сын воспринял отцовскую «квази-жизнь», стремление казаться оригинальным в полной мере. Повествователь знает своего героя с юношеских лет. «Всякому из нас, - делится своими наблюдениями Щедрин, - памятно, вероятно, эти дни учения, в которые мы не столько учимся, сколько любим поговорить, а еще больше послушать, как говорят другие, о разных взглядах на науку и в особенности о том, что надо во что бы то ни стало идти вперед и развиваться. Под словом "развиваться"разумеются нередко вещи весьма неопределенные, но всегда привлекательные для молодежи. Если немногие, вследствие этих

---

<sup>38</sup> Там же, сс. 266 – 267.

разговоров, получают положительный вкус к науке, зато очень многие делаются дилетантами, и до глубокой старости стоят за просвещение и за *comme il faut*, которое они впоследствии начинают не шутя смешивать с просвещением.

...В сущности, Владимир Константиныч был весьма близко к своему папа, по пословице: "От свиньи не родятся бобренки, а всё поросенки". В нем обретался тот же дилетантизм, то же бессилие к чему-нибудь определенному и положительному; только формы были несколько мягче и общедоступнее»<sup>39</sup>.

В разговоре с повествователем Буеракин находит интересное сравнение поведения русского чиновника с народной плясовой песней и, одновременно, танцем «камаринская», в котором нет никакой логики движений, а все подчинено буйной фантазии исполнителя. И даже если такого танцора научить определенной последовательности движений, то это все равно не гарантия того, что при следующем исполнении она будет воспроизведена. «И каким образом, спрашиваю я вас, - озадачивает Буеракин повествователя, - прекратите вы этот танец, если он в нравах, если в воздухе есть что-то располагающее к нему? Ну, положим, вы его остановили, вы размяли ему надлежащим образом руки и ноги, научили становиться в пятую позицию, делать *chasse en avant, pas de cosaque* и проч. Но что же из этого? Выпустили вы его из-под вашей ферулы, смотрите, - а он опять отплясывает комаринскую... Так-то, мой милейший!» Буеракин уверяет, что в соответствии с этим взглядом на жизнь он и хозяйство свое устраивает: «...у меня такое глубокое убеждение в совершенной ненужности вмешательства, что и управляющий мой существует только для вида, для очистки совести, чтоб не сказали, что овцы без пастыря ходят»<sup>40</sup>.

На деле, однако, оказывается, что управляющий Буеракина – немец – человек, неуклонно проводящий в жизнь свои представления о порядке и

---

<sup>39</sup> Там же, сс. 337 - 339 .

<sup>40</sup> Там же, с. 341.

организации дела и потому воплощать свои представления о «хозяйствовании» на манер «камаринской» пляски Буеракин бессилен. Так, управляющий немец определяет наказать розгами старосту за то, что он прилюдно управляющего оскорбил – назвал «колбасой» и сколько Буеракин не старается отклонить исполнение этого решения, немец стоит на своем. Так, идущий с немцем новый социальный уклад понемногу переделывает российскую действительность.

Еще один шествующий из старого в новое время типаж – сорокалетний прожигатель жизни некто по фамилии Горехвастов, во всем облике которого отчетливо видно, что в нем «материя преобладает над духом». Но Горехвастов не только кутила и карточный шулер. Он, что особенно характерно для людей такой породы, еще и отчаянный «русский патриот». Всякий раз, наткнувшись на тему патриотизма, Горехвастов несказанно одушевляется:

«- А все оттого, что вот здесь, в этом сердце, жар обитает! все оттого, хочу я сказать, что в этой вот голове свет присутствует, что всякую вещь понимаешь так, как она есть, - ну, и спокоен! Я, Николай Иванович, патриот! я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится, даже смотреть на него тошно, точно родить желает, а наш брат только подошел, глазами вскинул, руками развел: "Этого-то не одолеть, говорит: да с нами крестная сила! да мы только глазом мигнем!" И действительно, как почнет топором рубить - только щепки летят; гениальная, можно сказать, натура! без науки все науки прошел! Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется, так у него словно горит в руках дело! откуда что берется!...

- Гениальная натура, доложу я вам, ...науки не требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите, например, меня... ну, о чем

хотите! на все ответ дам, потому что это у меня русское, врожденное! А потому я никогда и не знал, что такое горе!»<sup>41</sup>

Задумавшись как-то о своей будущности, Горехвастов решает... сделаться «капиталистом». Впрочем, в доступном его пониманию смысле: оказалось, что это означает обжулить в карты коммерсанта, что и было успешно исполнено. Однако в другой раз «капиталист» был схвачен за руки, удостоился «подлеца» и выброшен в окошко. Примерно таким же образом завершается и его встреча с повествователем: в дом является полицмейстер и арестовывает Горехвастова по подозрению в краже казенных денег.

«Губернские очерки» Щедрина – огромное и разнообразное в своих сюжетах и образах философско-литературное полотно и дальнейшие исследования наверняка выявят в нем еще много глубокого, не увиденного при первом приближении. В заключение остановлюсь на финальном его очерке с важным для русского мировоззрения названием «Дорога». И если в первый раз в «Очерках» Щедрин отзывается о дороге как о чем-то сопрягаемым с приятностью для человека, то в этот раз дорога рисуется иной. Сопоставляя щедринскую и гоголевскую дорогу или путь, по которой несется птица-тройка, невольно погружаешься в новые, задаваемые Щедринным понятия-образы, по-новому начинаешь смотреть на сделавшиеся хрестоматийно-привычными представления о сопутствующих тройке удали, удачи и, кажется, самом счастье.

Зимняя дорога. Какая великолепная картина! «Лошади быстро несутся по первому снегу; колокольчик почти не звенит, а словно жужжит от быстроты движения; сплошное облако серебристой пыли подымается от взбрасываемого лошадиными копытами снега, закрывая собою и сани, и пассажиров, и самых лошадей... Красивая картина! Да, это точно, что картина красива, однако не для путника, который имеет несчастье в ней фигурировать»<sup>42</sup>. Несущаяся из-под копыт снежная пыль слепит и режет

---

<sup>41</sup> Там же, сс. 358 – 359.

<sup>42</sup> Там же, с. 514.

глаза, к тому же совершенно лишает едущего возможности открыть рот. Она, наконец, «вообще содержит человека в каком-то насильственном заключении, не позволяя ему ни распахнуться, ни высморкать нос... Господи! да скоро ли же станция?»<sup>43</sup>

При воспоминании о станции в голову почему-то начинают лезть совершенно «канальские», но как-то очень подходящие ко всей дорожной ситуации сюжеты вроде того, что на станции у старого зрителя непременно должна оказаться молодая и хорошенькая жена, вроде как «род дочери» и тут же невольно в спину ямщику летит вопрос: «А не забыли ли мы взять с собой рому?»

Спускаются сумерки и начинает падать снег. «Снег этот тает на моем лице и образует водные потоки, которые самым неприятным образом ползут мне за галстук. Сверх того, с некоторого времени начинаются ухабы, которые окончательно расстраивают мой дорожный туалет.

- Стой! - кричу я ямщику и привстаю в санях, чтобы покрепче запахнуть, - отчего тут столько ухабов пошло?

- Да вот черти с хлебом в Богородско тянутся - всю дорогу с первопути исковеркали! - отвечает ямщик и, злобно грозя кнутом тянущемуся мимо нас обозу, прибавляет: - Счастлив ваш бог, шельмы вы экие, что барин остановиться велел: насыпал бы я вам в шею горячих!

Но я уже закутался; колокольчик опять звенит, лошади опять мчатся, кидая ногами целые глыбы снега... Господи! да скоро ли же станция?

"Отчего же, однако, он назвал их шельмами, - думаю я, - и чем они провинились перед ним, что хлеб в Богородское везут?" Вопрос этот сильно меня интересует, и я вообще нахожу, что ямщик поступил крайне неосновательно, обругав мужиков. "Почему же он обругал их? - спрашиваю я себя, - может быть, думает, что вот он в ямщики от начальства пожалован, так уж, стало быть, в некотором смысле чиновник, а если чиновник, то высший организм, а если высший организм, то имеет полное право отводить

---

<sup>43</sup> Там же.

рукою все, что ему попадает на дороге: "Ступай, дескать, mon cher, ты в канаву; ты разве не видишь, mon cher, что тут в некотором смысле элевант едет". И так все это тихо, вежливым манером... Но скажите, однако ж, на милость, отчего мужик, простейший мужик, так легко претворяется в чиновника? Оттого ли, что чиновнику веселее жить на свете? Или оттого, что прежде сотворен был чиновник, а потом уже человек, и по этой причине самый инстинкт или, лучше сказать, естество заставляет человека тяготеть в чиновника?»<sup>44</sup>

Но вот дорога выходит на равнину. Внезапно наступает тишина. «Равнины тоже не дышат; где-где всколыхнется круговым ветром покрывающий их белый саван, и кажется утомленному путнику, что вот-вот встанет мертвец из-под савана... Грустно.

А грустно потому, что кругом все так тихо, так мертво, что невольно и самому припадает какое-то страстное желание умереть...»<sup>45</sup> И не случайно. Повествователю вдруг начинает казаться, что он смертельно устал, ничего больше не хочет и, пожалуй, даже не против расстаться с самой жизнью. И тут, чудится ему, ему навстречу возникает какая-то странная процессия, движущая под звуки дикой, нестройной музыки. В ней он различает лица своих крутогорских знакомцев – героев «Губернских очерков». На их лицах написана забота и испуг, все чего-то ждут и как-будто трепещут.

«Что это значит?» - спрашиваю я себя.

- Неужели вы ничего не слыхали? - говорит мне мой добрый приятель Буеракин, внезапно отделяясь от толпы, - а еще считаетесь образцовым чиновником!

- Нет, я не слыхал, не знаю...

- Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами вашими проходит похоронная процессия?

---

<sup>44</sup> Там же, с. 515.

<sup>45</sup> Там же, с. 518.

- Но кого же хоронят? Кого же хоронят? - спрашиваю я, томимый каким-то тоскливым предчувствием.

- "Прошлые времена" хоронят! - отвечает Буеракин торжественно, но в голосе его слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы...»<sup>46</sup>

Не напрасно слышится ирония. Не наступил еще час похорон прошлых времен, как и сомнителен сам вопрос о возможности для них такого часа. По крайней мере, от Гоголя до Щедрина минуло уже не одно десятилетие, а и чиновники, и дороги, и сами мысли о них все те же.

\* \* \*

Особенность текстов Щедрина как специфических философско-художественных исследований феноменов общероссийского и исторического масштаба в силу того, что в своих рассуждениях и обобщениях автор скорее шел от прозреваемых явлений к героям, чем наоборот, свое, возможно, наиболее яркое воплощение обнаруживает в жанре сказок.

В отечественном литературоведении сказки Щедрина мудрено именуются «щедринской эзоповской системой», чем, очевидно, стремятся подчеркнуть их жанровую связь не столько с предшествующими народными и авторскими сказками, сколько с баснями. При этом в качестве особенных элементов поэтической формы щедринской сказочной сатиры отмечаются гипербола, фантастика и образность, а также «прием зоологических уподоблений»<sup>47</sup>.

В этой связи исследователями указывается на имеющуюся, по их мнению, связь щедринских уподоблений человека животным традициям, развиваемым французским социалистом Шарлем Фурье. В его труде «Новый промышленный и общественный мир» действительно есть некоторые характеристики подобного рода. Так, отмечая, что на земле есть «130 видов змей, 42 видов клопов, столько же видов жаб», он полагает их «верным

---

<sup>46</sup> Там же, с. 520.

<sup>47</sup> Бушмин А. Сказки Салтыкова-Щедрина. Ленинград, Художественная литература, 1976, с. 23.

зеркалом» «цивилизованных душ» некоторых прекрасных парижан<sup>48</sup>. В русле этого наблюдения, советские времена литературоведы обязательно подчеркивали отмечаемую Лениным классовую направленность сказок Щедрина, на примере которых русское общество училось «различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы».<sup>49</sup>

Все эти наблюдения, на мой взгляд, сомнений не вызывают, но все же малопродуктивны. Очевидно, что художественные средства, о которых говорят специалисты в области литературного творчества, активно использовались и используются литераторами, работающими не только в жанре сказок, но и в других жанрах. А что касается особой роли приема зоологических уподоблений для научения «различать хищные интересы», то пусть это замечание останется на своем месте в истории как одна из характеристик его (замечания) автора. Сегодня вряд ли найдется сколько-нибудь грамотный исследователь, который стал бы всерьез говорить об эвристическом потенциале этого приема.

Но почему все-таки Щедрин обращается к этому жанру? Одной из причин такого обращения к жанру сказок и требующимся для него художественным средствам выразительности является то, что авторы (Щедрин и другие) ставили перед собой философские вопросы, отвечать на которые удобнее всего было именно в фантастически-обобщенной форме.

Что, скажем, намеревался выразить Пушкин своей «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях»? Многое, конечно. Но, наряду с прочим, мысль о всепобеждающей и даже отменяющей саму смерть силе любви. Очевидно, что фантастический замысел, нужный человечеству, как полагал автор, идеал (пусть недостижимый, но придающий жизни смысл), в иной, кроме как в сказочной форме, выражен быть не мог.

---

<sup>48</sup> Фурье Ш. Избранные соч. М., 1939. Т. 2, с. 418.

<sup>49</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 43.

Главное сущностное отличие всякой сказки в том, что она допускает, делает в мыслях (а на время чтения, как кажется, и в реальности) то, что объективно невозможно. Для требующего материализации в действительности философского знания сказочный жанр – одна из немногих возможностей рациональной формулировки того, что к сфере рационального по большому счету отнесено быть не может. Философская сказка, далее, не только фантазирует, но и фантастически вопрошает - в форме имитации рациональности ставит перед человеком проблемы, которые не могут быть рациональными средствами сегодня описаны. То есть, таким образом формулируются, в том числе, и проблемы завтрашнего дня. А те вопросы, которые философия изобрела, делаются одним из ее (философии) формы включения в реальность.

Под этим углом зрения предпринимаемое литературоведами в недавнем прошлом сведение поднимаемой Щедриным проблематики всего лишь к бичеванию социальных пороков, к изображению отрицаемых явлений и типов в низком и смешном виде, все это представляется мне разного рода упрощениями по отношению к Щедрину, что, само собой, затрудняет его адекватное прочтение. Как и Гоголя, великого предшественника автора «Господ ташкентцев» на поприще философствующей литературы (и сатиры, как одного из ее жанров), Щедрин заботит не столько задача изображения и бичевания порока, сколько возможность задавать вопросы и доискиваться причин, порок порождающих. Более того: есть сказки, в которых вообще ставится вопрос, к пороку имеющий отношение лишь вторичное, а касающийся первооснов человеческого бытия, как, например, в сказке «Пропала совесть». Вопрос – что такое совесть и можно ли без нее жить, это не обличение злых помещиков посредством образа медведя.

Щедрин как философствующий литератор, во многом идет значительно дальше современных ему собратьев по перу. Он, например, в отличие, от Чернышевского, рассматривал процесс становления личности не столько как результат действия обстоятельств, сколько и главным образом как продукт

самодеятельного творчества индивида. Он, в частности, полагал, что прошло время объяснения личностных поступков «условиями среды» или принадлежностью к определенному сословию. В этой связи в «Сатирах в прозе» в вступительном разделе «К читателю» замечал: «Еще не так давно (а может быть, даже и совсем не "давно") мы не только с снисходительностью, но даже с крайним равнодушием взирали на гражданские и нравственные убеждения людей, с которыми нам приходилось идти бок о бок в обществе. Нам сдавалось, что убеждения составляют нечто постороннее, сложившееся силою внешних обстоятельств, силою фатализма, и отнюдь не причастное личной жизненной работе каждого из нас. Совесть наша затруднялась мало, смущалась еще менее. Если требовалось определить признаки известного явления, сделать оценку известного поступка, мы, без излишних хлопот, посылали эту покладистую совесть в тот темный архив, в котором хранилась попорченная крысами и побитая молнией мудрость веков, и без труда отыскивали на пожелтевших столбцах ее все, что было нужно для удовлетворения неприхотливых наших потреб.

Там, в этом мрачном хранилище наших жизненных воззрений, лежали всегда готовые к нашим услугам связки старых дел, надписи на которых гласили: убеждения дворянские, убеждения мещанские, убеждения холопские. Кодекс мудрости, общежития и приличий, кодекс условной нравственности, условной истины и условной справедливости был весь тут налицо: стоило только заглянуть в него, и мы наверное знали, как следует поступить нам в данном случае, как следует вести себя вообще. Таким образом, мы узнавали, что дворянину не полагалось приличным заниматься торговлею, промыслами, сморкаться без помощи платка и т.п., и не полагалось неприличным поставить на карту целую деревню и променять девку Аришку на борзого щенка; что крестьянину полагалось неприличным брить бороду, пить чай и ходить в сапогах, и не полагалось неприличным пропонттировать сотню верст пешком с письмом от Матрены Ивановны к Авдотье Васильевне, в котором Матрена Ивановна

усерднейше поздравляет свою приятельницу с днем ангела и извещает, что она, слава богу, здорова.

В эти недавние, счастливые времена мы знакомились друг с другом, заводили дружеские связи, женились и посягали по соображениям, совершенно не имеющим никакого дела до убеждений. То есть, коли хотите, они и были, эти убеждения, но то были убеждения затылка, убеждения брюшной полости, но отнюдь не убеждения мысли.

...Даже в том безвестном, но крепко сплоченном духовными узами меньшинстве людей мыслящих, на котором с любовью отдыхает взор исследователя явлений нашей общественной жизни, в тех немногочисленных кружках, которые в самые безотрадные эпохи истории, несмотря на существующую окрест слякоть и темень, все-таки прорываются там и сям, как зеленеющие оазисы будущего на песчаном фоне картины настоящего, в тех кружках, где необходимость нравственного убеждения, как внутреннего смысла всей жизни, признается за бесспорную истину, где члены относятся друг к другу, с точки зрения убеждений, с крайней строгостью и взыскательностью, - даже там существовала какая-то патриархальная снисходительность в суждениях о лицах, стоящих вне жизни и условий кружка и пользующихся каким-нибудь значением на поприще общественной деятельности»<sup>50</sup>.

Возможностью делать в мыслях, а на время чтения - и в художественной реальности, действительно реальным то, что объективно в действительности неосуществимо, Щедрин начал пользоваться уже в 1869 году. В этот год в «Отечественных записках» появляются три первые сказки Щедрина: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик». Уже в этих сказках, в их искусственно созданной конструкции реальная жизнь получает возможность испробовать какие-то возможные для себя, но по разным причинам не осуществленные или вообще не осуществимые формы и способы. В сказочном жанре

---

<sup>50</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений. М., Правда, 1951. Т. 2, сс. 245 – 246.

Щедриным занимательно-непринужденно дается ответ на вопрос – а что было бы, если бы...? И рассматриваются варианты ответа. Впрочем, и сами формулируемые вопросы есть определенная форма философствования. И характер этих вопросов – предмет для понимания, суждения и оценки их автора.

Сюжет сказки «Пропала совесть» всецело нереален и потому максимально философичен. Однажды в жизни людей случилось событие: пропала совесть. «По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болезнь* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее - все, казалось, так и отдавалось им в руки, - им, счастливым, не заметившим о пропаже совести.

...Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение»<sup>51</sup>.

Для чего же нужна человеку совесть? Что она держала в человеке? Посредством чего она производила свои действия и заставляла следовать своим велениям? Эти вопросы стоят за занимательным сюжетом сказки.

---

<sup>51</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в десяти томах. М., «Правда», 1988. Т. 8, сс. 324 - 325.

Первым тряпицу-совесть подбирает пьяница, совершенно не имеющий ничего для заклада в трактире. И совесть начинает действовать. В нем пробуждается осознание действительности, потом восстанавливается память, начинает говорить воображение. «Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд...

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно сильнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? - все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью»<sup>52</sup>.

Впрочем, сознание, память, воображение пьянице ни к чему. Он не умеет с ними обращаться, в его существе они не находят заложенных и, одновременно, выстроенных культурой опор, при взаимодействии с которыми эти человеческие свойства оказались бы полезными, начали бы позитивную работу по восстановлению разрушенной личности. Вместо личности в данном человеческом существе потерянная (а, на самом деле, странствующая по миру) совесть не находит поля для взаимодействия. И пьяница, в котором поместилась совесть, не может ничего, кроме как лить слезы на смех праздной толпе.

---

<sup>52</sup> Там же, с. 325.

Очевидно, что Щедрина, первым предложившему читателю данный тип философского рассуждения в сравнении с литераторами, обратившимися к этой тематике позднее, сравнительно просто. У него еще не исчерпан запас вариантов возможных мысленных ходов, не разрушены иллюзии-надежды, из которых он может черпать гипотетические позитивные ответы на резонный вопрос: как поправить дело. И он легко предлагает свой ответ. В том, что мир остался без совести, виновата несвобода человека, царящий в русском обществе «гнет». В этом случае, на мой взгляд, в известном смысле повторяется ситуация, имевшая место в тургеневском Инсаровым-революционером, которому предстояло вернуться на родину и освободить страну от завоевателей-турок. Но вот то, с чем придется иметь дело последующим революционером – с обществом, привыкшим жить в условиях рабства и потому не очень свободу ценящим, оказывается задачей несравненно более трудной, которую пинком ноги «по ящику», как советовал Добролюбов, не решить. Смеющаяся над плачущим пьяницей толпа тому яркое подтверждение. Толпа, будь она сколько-нибудь более продвинутой по этому пути философского размышления о роли совести в жизни человека и общества, уразумела бы, что и она «настолько же подъяремная и изуродованная духом, насколько подъяремен и нравственно искажен вызывающий перед нею пропоец».<sup>53</sup>

Странствие совести продолжается: к кабатчику Прохорычу, к надзирателю по фамилии Ловец, к финансисту еврею Шмулю Давыдовычу Бржоцкому, к генералу, командующему благотворительным учреждением.

Нигде не нужна совесть, отовсюду ее гонят, все от нее стараются избавиться. И, наконец, находит она успокоение в сердце маленького ребенка. «Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И

---

<sup>53</sup> Там же, с. 326.

исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».<sup>54</sup>

И все бы ничего, но, похоже, чем больше думала на этот счет русская философствующая классика, тем отчетливее сознавала: и этой надежды нет. У Н.С. Лескова в воспоминаниях о нем его сына Андрея примерно об этом же времени находим: «В шутивную минуту, в разговорах о детях и их воспитании, Лесков, без большого простодушия, читает вслух шутивное четверостишие Шумахера к памятнику баснописца Крылова:

Лукавый дедушка с гранитной высоты  
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,  
И думает себе: «О милые зверята,  
Какие, выросши, вы будете скоты!

- Скажете – грубо? – спрашивал он, окончив. – А никуда не денешься – верно! Я всегда с этой мыслью смотрю на всех этих отпрысков так называемых «хороших семей», которыми засижены наши модные дачные места. Да и далеко ли от деда Митрича из «Власти тьмы», заверявшего свою внучку Анютку: «Еще как изгадишься-то!» - заканчивал он ссылкой на Толстого».<sup>55</sup>

Никогда не был, и не хочу, чтобы меня числили среди «друзей детства», - писал Лесков в одном из писем. «Пусть с ними дружит кто хочет и кто может дружить с *неизвестными величинами*, но я питаю более дружбы к тому, *что я знаю за хорошее и полезное*: я дорожу дружбою взрослых и зрелых людей, доказавших жизнью свою нравственную силу, прямоту, честность, умеренность и воздержание. Этим людям я друг и хотел бы жить и

---

<sup>54</sup> Там же, с. 335.

<sup>55</sup> Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., Художественная литература, 1984. Т. 2, с. 269. Шумахер Петр Васильевич (1817 – 1891), поэт. И небольшая, допущенная Н.С. Лесковым, неточность: Анютка – не внучка Митрича. Митрич в семье Анисьи и ее младшей дочери Анютки человек посторонний - работник, нанятый со стороны.

умереть с ними; но что до детей, то их потому только, что они *дети*, - я нимало не люблю и часто ужасаюсь за них и за их матерей и отцов»<sup>56</sup>.

Суров был Николай Семенович. Ведь дружба с детьми и любовь к ним «как бы авансом», а не за те добрые дела, которые они, может быть, совершат в будущем (и в этом Лесков прав), совершенно очевидно предполагает и особый контекст выстраиваемых с ними отношений. Дети видят и чувствуют, что их любят, хотя наверняка как-то ощущают, что вроде бы и не за что. Но эта атмосфера любви «авансом» не проходит даром. Ребенок растет в окружении добра, а не равнодушия и зла. И, значит, в нем с большей вероятностью могут развиваться именно добрые, а не злые качества и чувства. Так что надежды Щедрина о помещении совести в душу ребенка не напрасны. Во всяком случае, они из надежд того рода, которые даже будучи не оправданы, сожалений не вызывают. А вот «механизм» того, как сделать, чтобы совесть не покинула человека и после того как он вырастет, предмет особых размышлений, которым по большому счету и занималась вся русская философствующая классическая литература.

Перспективы дальнейшего развития основных классов российского общества после реформы 1861 года – тема сказки «Дикий помещик». Урезанное в своих имущественных и хозяйственных возможностях отечественное крестьянство после реформы переживало в некоторых отношениях еще более тяжелые времена, чем находясь в крепостном состоянии. За определенную крестьянам сверх минимального надела землю приходилось платить. Отошедшие к помещикам наделы, покосы, пастбища, леса и водные источники все более жестко от крестьян, нередко пользовавшихся ими ранее, теперь охранялись. Эти действия помещиков Щедрин и обозначил тем мудрым словом, которое прочитал будущий дикий помещик в правительственной газете «Весть». Слово это было «старайся!».

«И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет - сейчас ее, по правилу, в суп;

---

<sup>56</sup> Там же, сс. 269 – 270.

дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется - сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

- Больше я нынче этими штрафами на них действую! - говорит помещик соседям своим, - потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут - все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет - помещик кричит: "Моя вода!", курица за околицу выбредет - помещик кричит: "Моя земля!" И земля, и вода, и воздух - все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести». <sup>57</sup> И попросили крестьяне бога, чтоб устранил их из имения глупого помещика и бог их услышал. Забрал крестьян с помещичьей земли.

Наступили для помещика плохие времена. Не стало у него ни еды, ни жизненных удобств. Все в запустение пришло. Однако он не сдавался, укреплял дух чтением правительственной газеты и время от времени говорил: «Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!». <sup>58</sup>

И все бы ничего, да перестали от исчезнувших мужиков доходы в казну поступать и государство этим непорядком озаботилось. Кончилось, как известно, тем, что в имение вновь насадили мужика, а помещика изловили. А «изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету "Весть" и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит». <sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Цит. соч., т.8, с. 336.

<sup>58</sup> Там же, с. 341

<sup>59</sup> Там же, с. 343.

О российском социально-экономическом укладе и третья хорошо известная щедринская сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В ней намеченные в «Диком помещике» обобщения доходят до своего предельного вида. Россия – в сказке остров-страна, на котором оказываются генералы, территория с огромными природными богатствами. «Пошел один генерал направо и видит - растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть - ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

"Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!" - подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес - а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

- Господи! еды-то! еды-то! - сказал генерал». <sup>60</sup>

Но только, как узнает читатель посредством чтения генералами газеты, правящие слои отечества заняты не каким-либо созидательным делом, а в основном тем, что едят производимое народом. Едят в Москве, едят в Туле, в Вятке, в Пензе, в Рязани... И сообразили генералы, что их привычная российская жизнь неожиданно нарушилась по одной причине: из нее исчез мужик. И, стало быть, нужно его отыскать. И в самом деле, вскоре нашли мужика, да притом такого, что в мыслях у него не было генералам противоречить, разве что спервоначалу убежать попытался. Но вскоре свое вполне удовлетворительное сословное самосознание обнаружил: «начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались!» <sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Там же, с. 318.

<sup>61</sup> Там же, с. 323.

Все сделал мужик, в том числе вернул генералов по их желанию на Большую Подьяческую, за что и получил рюмку водки и пятак серебра: «веселись, мужичина!»

\* \* \*

Проза Щедрина лишена сколько-нибудь законченных системных идей «позитивного» свойства. В ней нельзя найти попыток того рода, которые есть в романах И.С. Тургенева, когда автор последовательно рассматривает эволюцию их главных героев - например, от рассуждающих о преобразованиях «идеологов» до практиков - людей «дела». В ней нет и фантазий, подобных тем, которые находим в романах Н.Г. Чернышевского о «новых» людях. Однако будучи лишенной всего этого проза Щедрина, тем не менее, конструктивна. Так, свое внимание философствующий художник сосредотачивает на структуре русского общественного порока, имеющего разные имена, но одно происхождение – длительную жизнь в неволе. И то, как он это делает, коренным образом отличается не только от умеренных либералов, к лагерю которых принадлежал Тургенев, но и от сладкоречивых славянофилов, к которым склонялся Достоевский. Да и как Щедрин, нередко испепеляющий своими сатирами самодержавие, мог, например, принять подобострастие славянофила Ивана Аксакова, выказываемого им в отношении власти: давая однажды объяснения Третьему отделению насчет своего образа мыслей, Аксаков писал про царя, что «народ вполне верит ему и знает, что всякая гарантия (речь шла о Конституции – С.Н.) только нарушила бы искренность отношений и только связала бы без пользы руки действующим».<sup>62</sup>

Столь же критически относился Щедрин и к претендующим на «независимость» попыткам Ф.М. Достоевского воззвать к «всеобщему духовному примирению», к братским чувствам, которые он предполагал у угнетателей, равно как и у тех, кто были угнетены. По словам Щедрина,

---

<sup>62</sup> Цит. по: Турков А. Салтыков-Щедрин. М., Молодая гвардия, 1964, с. 108.

такого рода призывы - ни что иное как все те же «арбузные корки» славянофильства, которыми питался автор «Преступления и наказания».

Один из первых подходов Щедрина к проблематике народного сознания и сознания власть имущих – «Сатиры в прозе» (1863), предшествовавшие язвительной пародии на историю и жизнь славянства вообще и русских, в частности, под названием «История одного города» (1869). В «Сатирах», говоря о времени, наступившем после реформы 1861 года, одной из его определяющих особенностей Щедрин называет «конфуз». Раньше в стране было проще - все жили, все делали и все поступали по извечному российскому принципу «тяп да ляп – и карась». Но теперь (неизвестно почему и откуда это началось, - скрыто иронизирует по поводу российских реформ автор), все вдруг сконфузились и оплошали почти поголовно. «Конфуз проник всюду; конфуз в сердцах помещиков, конфуз в соображениях почтенного купечества, конфуз в литературе и журналистике, конфуз в умах администраторов. Последние сконфузились сугубо - и за себя и за других. Они почему-то сообразили, что все бремя эпохи конфуза лежит на их плечах и что, следовательно, им предстоит учетверить свою собственную конфузливость, дабы укрепить корни этого невиданного у нас растения в сердцах прочих человеков. Зубатов видимо оторопел, Удар-Ерыгин, как муха, наевшаяся отравы, сонно перебирает крыльями. Оба видят, что на смену им готовится генерал Конфузов, и оба из кожи лезут, чтоб предъявить кому следует, что они ничего, что они и сами способны сконфузиться настолько, насколько начальство прикажет»<sup>63</sup>.

Вот, к примеру, Зубатов. «Когда ему докладывают, что такой-то исправник не соскочил с колокольни, не утонул в стакане воды, не пролез сквозь ушко иглиное, он не ржет, как озаренный: "Под суд! под суд его!" - а кротко замечает: "Ах, любезный! Надо еще справиться: может быть, у него свои резоны есть!" Когда ему объясняют, что такой-то Замухрышкин целый уезд грабит, он предварительно любопытствует, сколько у него

---

<sup>63</sup> Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Собрание сочинений. М., Правда, 1951. Т. 2, с. 255.

детей, и, получивши сведение, что шестеро, молвит: "Oh, les enfants! les enfants! ils font commettre bien des crimes!" (О, дети! дети! они заставляют делать много преступлений!) - причем непременно погладит по головке своего Колю»<sup>64</sup>.

Еще одна особенность переживаемого страной реформенного времени – неожиданно проснувшаяся в россиянах страсть к говорению. Явление это, отмечает автор «Сатир», возникло как-то неожиданно и в противоположность исконным русским традициям. А традиции древнего отечественного витийства легко умещались в четыре разряда:

*«Красноречие Марса.* «Не рассуждать! Руки по швам!» При этом, гласит предание, нередко случалось и так, что Марс, вместо слов, ограничивался простым рычанием, что, без сомнения, представляет самую сжатую форму для изъяснения чувств и мыслей.

*Красноречие сельское.* Но об этом виде красноречия я много распространяться не стану: оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке: «чуки-чюк! чуки-чюк!».

*Красноречие бюрократическое.* «Да вы знаете ли, милостивый государь! Да как вы осмелились, государь мой! Да известно ли вам, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гонял!»

*Красноречие торжественное или, так сказать, обеденное.* «Очень рад, господа, что имею случай... тово... это таперича доказывает мне, что вы с одной стороны... чувства преданности... ну и прочее... а с другой стороны и я, без сомнения, не примину... от слез не могу говорить... господа! За здоровье Крутогорской губернии!»

Одним словом, пользуясь указаниями опыта и бывшими примерами, мы имели полное право догадываться, что у нас скорее может процветать балет, нежели драматическое искусство».<sup>65</sup> Но теперь, в условиях объявленных Александром II реформ, в том числе – судебной (с избираемыми народом

---

<sup>64</sup> Там же.

<sup>65</sup> Там же, с. 335.

мировыми судами и присяжными заседателями), университетской и местного самоуправления, по стране разлилась волна говорения. Какова же была причина столь внезапного явления? Что заставило россиян заменить прежнее необузданное молчание на столь же необузданную болтовню? – спрашивает автор и дает ответ.

Первая причина та, что «нам вышло позволение говорить, подобно тому, как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т.д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным ослушанию воле начальства?»<sup>66</sup>

А если посмотреть на вопрос с точки зрения наших традиций, без которых нам, как известно, никуда, то надо бы знать, как по этому поводу думал Гостомysl, какой смысл давали этому явлению Рюриковичи и как – «прямо или перекосясь» - взирали на него, собирая дань, Батыевичи.

Секрет здесь, очевидно, в том, что Гостомysl «разрешил» единоплеменникам призвать варягов из-за моря. Равно как и в том, что Рюриковичи «разрешали» своим «добрым подданным полянам колотить добрых подданных кривичей, а кривичам – добрых подданных родимичей. И все эти поляне, кривичи и родимичи не только не задают себе вопроса, откуда и на какой конец этот град колотушек, но, пользуясь данным разрешением, с бескорыстной отчетливостью тузят друг друга и по суслам, и под микитки, и в рожество! Вот Батыевичи, любезно разрешающие нашим предкам платить им дани многи, и предки не только пользуются этим дозволением, но даже всякий раз произносят при этом «хи-хи». Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Волхове целое народонаселение, вот Петр Великий, разрешающий дворянам вступать на службу и брить бороды...

---

<sup>66</sup> Там же, с. 336.

Боже! Как делается легко, как все становится ясно, если перенесешь вопрос на историческую почву! И что бы мы стали делать, если бы не было у нас этой исторической почвы? Пожалуй, смотря на наших нынешних ораторов, мы и впрямь могли бы подумать, что они заговорили – чего доброго – не дождавшись разрешения!..»<sup>67</sup>

Еще одной причиной внезапно прорвавшейся болтливости стало то, что на Руси внезапно расплодилось много неизвестно откуда взявшихся пришельцев, странных людей, которые вдруг, ни с того, ни с сего стали утверждать, что вечно спать невозможно.

Итак, россияне начали говорить. Но как и о чем? Щедрин предоставляет нам ответ и на этот вопрос. Во-первых, в современном говорении утрачена сжатость. Мы уже не говорим больше: «Цыц, собака!». Желая содрать с ближнего кожу, мы не высказываемся об этом прямо, а употребляем, например, слова «с истинным прискорбием». Мы знаем, что всякая речь должна быть обставлена приличными делу словами и заключать в себе силлогизмы. В нашей речи, далее, стало много того, что обнаруживает нашу принадлежность к человечеству. Мы не удовлетворяемся именами «ваше превосходительство», «благородие» и «баре». И, наконец, речь наша сделалась современной. Мы, например, условились заранее, что откупа – мерзость, взяточничество – мерзость, казнокрадство – мерзость, а крепостное право – и вовсе вещь, которой нет названия. «Но, господи! Что за горечь кипит в наших сердцах, когда мы произносим эти слова! Какое горькое дрожание усматривается на побледневших губах наших... Словом, чтобы определить характер нашего витийства одним термином, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожним».<sup>68</sup>

Интересно, что пришедшее сверху повеление к говорению не имеет никаких оснований в действительности. Ни жизнь, ни наука не дают россиянам содержания для витийства. «Шли мы все по отлоному месту, не

---

<sup>67</sup> Там же, сс. 337 – 338.

<sup>68</sup> Там же, с. 343.

знали ни оврагов, ни пригорков, не ехали, можно сказать, а катились. Урожай у нас – божья милость, неурожай – так, видно, богу угодно; цены на хлеб высоки – стало быть, такие купцы дают; цены низки – тоже купцы дают... Господи! И жарко нам, и объелись-то мы и не умеем-то и не знаем-то... поневоле со всякою мыслью свыкнешься, со всяким фактом примиришься! О чем тут думать, чем озабочиваться! Жили как-нибудь прежде, проживем как-нибудь и теперь и после! И точно, мы не думали и не размышляли; разве по хозяйству что-нибудь укажешь, да и то больше рукой, а не словом...»<sup>69</sup>

Привычка жить по распоряжению, в соответствии с дозволениями или запретами, то есть, как это формулирует Щедрин, «под начальством» – универсальная российская черта. В этой связи и надобность суда как средства, с помощью которого справедливо, по законам, разрешаются спорные ситуации, отпадает сама собой. Эта привычка не обращаться к суду к тому же подкрепляется и специфическими, далекими от цивилизации и культуры чертами русского характера. «...Мы, россияне, от рождения нашего питаем к судам нелюбовь. Одаренные от природы воображением впечатлительным и характером живым, даже строптивым, мы требуем, чтоб дела решались немедленно, а желания наши удовлетворялись беспрепятственно. Что бы это такое было, если б существовали одни суды и не существовало начальства? Страшно подумать, но предугадать не трудно. Во-первых, обыватели пришли бы в уныние; во-вторых, в делах произошел бы застой. Результат же всего этого – хаос, среди которого люди стремились бы не к тому, чтобы сделать себе одолжение, но к тому, чтобы поедать друг друга, подобно ...прожорливым инфузориям».<sup>70</sup>

В полной мере эта глуповско-российская привычка к начальству и нелюбовь к судам приложима и к сфере законотворчества. Забегая несколько вперед, напомним об одном из череды глуповских градоначальников – Феофилакте Иринарховиче Беневоленском (друге и товарище Сперанского

---

<sup>69</sup> Там же, сс. 343 - 344.

<sup>70</sup> Там же, с. 381.

по семинарии). Вступивши в должность, он решил реализовать с детских лет копившуюся в нем страсть к писанию законов. Однако вскоре к своему несчастью обнаружил, что в городах законов издавать нельзя. Как разъяснил ему помощник: « - Без закона все, что угодно, можно! ... только вот законов писать нельзя-с».<sup>71</sup>

Однако и в отношении тех законов, которые все же были, у глуповских градоначальников нашлось противодействие. Один из них Василиск Бородавкин, дабы облегчить себе управление жителями, сочинил для себя устав, озаглавленный «О нестеснении градоначальников законами», первый и единственный параграф которого гласил: «Ежели чувствуешь, что закон налагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».<sup>72</sup>

Таким образом, закон, суд и, как очевидно глуповцам, следующее за ними непереносимое «поедание друг друга» в их мирозерцании никак не вписывается. Впрочем, на то есть и другая причина. Здесь Щедрин открывает нам еще одну из глуповских тайн. «...Истинное глуповское мирозерцание состоит в отсутствии какого бы то ни было мирозерцания.

...Но, с другой стороны, нам могут заметить, что отсутствие мирозерцания есть такая же нелепость, как отсутствие масла в каше, как отсутствие дегтя в колесах мужицкой телеги. Подобно тому как каша без масла обдирает горло вкушающего, скажет мой возражатель, так и жизнь без мирозерцания должна всечасно обдирать мозги глуповцев, что, очевидно, невозможно, если принять в соображение продолжительность среднего термина глуповской жизни (от ста до ста двадцати лет, но вороны глуповские живут и долее).

Мне самому неоднократно приходило на мысль это возражение, и я всякий раз должен был внутренне соглашаться, что оно справедливо. В самом деле, как-таки прожить жизнь без мирозерцания не только целому

---

<sup>71</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в десяти томах. М., Правда, 1988. Т. 2, с. 399.

<sup>72</sup> Там же, сс. 377 – 378.

и в своем роде знаменитому городу, но даже и отдельному человеку? Ведь таким образом на каждом шагу будешь стучаться лбом об стену, будешь попадать ногами в лужу и дойдешь, наконец, до такой неопрятности, которая не только в Глупове, но и в доме умалишённых терпима быть не может. Я думаю, сам Михаил Петрович<sup>73</sup> должен был чувствовать это, стучаясь то об Ярослава, то о Мстислава, то об Ивана Берладника, и не нащупывая из них ни которого.

Итак, я обязан сознаться, что мирозерцание есть, но мирозерцание, пришедшее извне (как извне же приходят град и поветрия разные) и управляющее Глуповым наравне с прочими городами и весями. Это не то тонкое, доступное лишь внутреннему постижению мирозерцание, которое дает себя чувствовать как продукт целого строя жизни, но мирозерцание внешнее, мирозерцание, которое можно ощущать, которое можно облобызывать, но на которое можно и наплевать; одним словом - мирозерцание вроде знаменитых правил: "Цветов не рвать, травы не мять, птиц и рыб не пугать".

Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и приятно. Стоит только смиренно гулять по дорожке, и если обладаешь какой-нибудь гнусной привычкой, как, например, кряхтишь во всю мочь или откашливаешься (это пугает рыб), или ногами дрыгаешь (это наносит вред прозябанию трав), то можно и совсем в сад не ходить»<sup>74</sup>.

Вообще, вопросы, подобные вопросам о законах и суде, до недавнего времени в Глупове даже не обсуждались. Да и само общество какое было, было именно такое, какое требуется в соответствии описанному выше управлению! Это было то общество так называемых «хороших людей», о которых мудрая русская пословица гласит: «Сальных свечей не едят и стеклом не утираются!» Глупов – «управляющие и управляемые – все это, взятое вместе, представляло такую сладостную картину гармонии, такое

---

<sup>73</sup> Речь об историке М.П. Погодине – С.Н..

<sup>74</sup> Там же, сс. 478 – 480.

умилительное позорище взаимных уступок, доброжелательства и услуг, что сердцу делалось больно и самый нос начинал ощущать как бы прилив благородных чувств»<sup>75</sup>. Что же такое были эти так называемые «хорошие люди»?

«Между "хорошими" людьми доброго старого времени (old merry Glouproff)<sup>76</sup> много было плутов, забулдыг и мерзавцев *pur sang*<sup>77</sup>. Почему они назывались "хорошими" людьми, а не канальями, это тайна глуповской почвы и глуповской природы. Но, разбирая дело внимательно, полагаю, что это происходило оттого, что над упомянутыми выше качествами парило какое-то добродушие, какая-то атласистость сердечная, при существовании которых как-то неловко думать о вменяемости. Для объяснения прибегну к примерам. Бывало, "хороший" человек выпорот вплотную какого-нибудь Фильку и вслед за тем скажет другому такому же "хорошему" человеку: "А пойдем-ко, брат, выпьем по маленькой". Разве это не добродушие? Или, например, передернет нечаянно в карты (за что тут же получит возмездие в рождество) и вслед за этим воскликнет: "А не распить ли нам бутылочку холодненького?" Разве это не атласистость сердечная?

...Надо сказать правду, что "хороший" человек старого времени не имел обширных сведений в области наук. По части истории запас его познаний не выходил из круга рассказов о том, как в тринадцатом году русский бился с немцем об заклад, что сотворит такую пакость, от которой у него, немца, глаза на лоб полезут, - и действительно сделал пакость на славу. По части географии он мог утвердительно сказать только то, что на том самом месте, где он в настоящее время играет в карты и закусывает, рос некогда непроходимый лес и что недавно еще уездный стряпчий Толковников из окна своей квартиры бивал из ружья во множестве дупелей и бекасов. Юридическое образование его ограничивалось: по части прав

---

<sup>75</sup> Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Собрание сочинений. М., Правда, 1951. Т. 2, с. 460.

<sup>76</sup> Старый веселый Глупов.

<sup>77</sup> Чистой крови.

состояния - отсылкою грубиянов на конюшню; по части гражданского права - выдачею заемных писем и неплатежом по ним.

И между тем жили, пили, ели, женились и посягали, славословили, занимали начальственные места и пользовались покровительством законов...

"Хороший" человек имел привычки патриархальные. Обедал рано и в послеобеденное время любил посвятить час-другой гастрическим сновидениям, сопровождая это занятие аккомпанементом всевозможных шипящих звуков, которыми так изобилуют преисподние глуповских желудков. По исполнении этого он, по крайней мере в продолжение двух часов, не мог прийти в себя и вплоть до самого вечера чувствовал себя глупым. Тут выпивалось несчетное количество графинов холодного квасу; тут испускались такие страшные потяготы и позевоты, от которых содрогались на улице прохожие. "Господи! какая тоска!" - беспрестанно восклицал он, отплевываясь во все стороны, и в это время не суйся к нему на глаза никто: разобьет зубы!

"Хороший" человек имел слабость к женскому полу и взятых им в полон крепостных девиц называл "канарейками".

- Ну, брат, намеднись какую мне канарейку из деревни прислали! - говорил он своему другу-приятелю, - просто персик!

И при этом причмокивал, обонял и облизывался.

В обращении с "канарейками" он не затруднялся никакими соображениями. Будучи того убеждения, что канарейка есть птица, созданная на утеху человеку, он действовал вполне соответственно этому убеждению, то есть заставлял их петь и плясать, приказывал им любить себя и никаких против этого возражений не принимал. Если же со временем канарейка ему прискучивала, то он ссылал ее на скотный двор или выдавал замуж за камердинера и всенепременно присутствовал на свадьбе в качестве посаженного отца.

"Хороший" человек в непривычном ему обществе терялся. В гостиной, в особенности в присутствии женщин, он был застенчив, как фиалка, и

неразговорчив, как пустынножитель. В таких тесных обстоятельствах он с мучительным беспокойством поглядывал на дверь, ведущую в кабинет хозяина, где, как ему известно, давным-давно поставлена водка и разложен зеленый стол, и пользовался первым удобным случаем, чтоб бочком-бочком проскользнуть в обетованную дверь. Вообще, он любил натянуться дома, в халате, с добрыми знакомыми, и называл это жуировать жизнью; в публику же показывался редко, и то в клубах, и притом лишь тогда, когда ему было известно, что там соберутся такие же теплые други-приятели, как и он сам. Напившись, наевшись и досыта наигравшись в карты, он, ложась на ночь спать, с легким сердцем восклицал: "Вот, слава богу, я наелся, напился и наигрался!"

В это хорошее старое время, когда собирались где-либо "хорошие" люди, не в редкость было услышать следующего рода разговор:

- А ты зачем на меня, подлец, так смотришь? - говорил один "хороший" человек другому.

- Помилуйте... - отвечал другой "хороший" человек, нравом помирнее.

- Я тебя спрашиваю не "помилуйте", а зачем ты на меня смотришь? - настаивал первый "хороший" человек.

- Да помилуйте-с...

...Бац в рыло!..

- Да плюй же, плюй ему прямо в лохань! (так в просторечии назывались лица "хороших" людей!) - вмешивался случавшийся тут третий "хороший" человек.

И выходило тут нечто вроде светопреставления, во время которого глазам сражающихся, и вдруг, и поочередно, представлялись всевозможные светила небесные...

"Хороший" человек был патриот по преимуществу. Он зарождался, жил и умирал в своем милом Глупове. Он был, так сказать, продуктом местных нечистот; об них одних болело его сердце; к ним одним стремились его вождения, и никаких иных навозных куч он не желал, кроме тех,

которыми окружено было его счастливое детство. Петербурга он не любил и не понимал; он охотно допускал, что хорошие люди могут зарождаться в Москве, в Рязани, в Тамбове и, разумеется, в Глупове; но в Петербурге, по его мнению, могут существовать только выморозки, не имеющие ни малейшего понятия о том, что за блаженство есть буженину, когда она изжарена в соку и притом легонько натерта чесноком...

Повторяю: тип "хорошего" человека исчезает, и вместе с тем исчезает и глуповское добродушие, и глуповская сердечная атласистость. Фильку наказывают по-прежнему, но уже без прибауток; передергивают в карты по-прежнему, но, получая возмездие в рождество, уже протестуют и притворяются оскорбленными».<sup>78</sup>

\* \* \*

К тематике, сюжетам и образам, развиваемым в «Сатирах в прозе», писатель вновь обратился в несравненно более широко известном тексте - сатирических очерках «История одного города», крупном произведении, опубликованном в 1869 году, когда вышел в отставку и занялся исключительно писательским трудом.

В своих, как он говорил, «провинциальных романсах», Щедрин предпринимает философско-сатирическое исследование всех уровней существующего в России самодержавного порядка, жизни не по закону, а по воле начальства, что предполагает безропотное подчинение темного русского народа (жителей города Глупова) развращенной от своеволия и беззакония власти, олицетворенной в черед сменяющихся друг друга градоначальников. И хотя сам автор откешивался от прямых аналогий глуповской истории с историей русского государства, тем не менее, не только событийные, но сущностные аналогии в них просматриваются ясно.

Аналогии обнаруживаются уже в летописных и щедринских описаниях русских изначальных времен. «Был, - открывает свою «Историю» Щедрин, - ...в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко

---

<sup>78</sup> Там же, сс. 460 – 462.

на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку "тяпать" головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадетя - об стену тяпают; Богу молиться начнут - об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебы, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли "да будет мне стыдно", и были наперед уверены, что "стыд глаза не выест". Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны»<sup>79</sup>.

Обратимся теперь к историческому источнику. В одном из древнейших российских летописных памятников «Повести временных лет» читаем: «...Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. ...Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи - лутичи, иные - мазовшане, иные - поморяне.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались

---

<sup>79</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в десяти томах. М., Правда, 1988. Т. 2, сс. 298 - 299.

полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане.»<sup>80</sup>.

В древнерусских летописях повествуется об обычаях, законах и нравах племен. Так, если поляне были тихого и кроткого нрава, стыдливы перед снохами и сестрами, матерями и родителями, то иными были древляне. Они жили звериным обычаем, по-скотски: убивали друг друга, ели все нечистое, у них не было браков, а девиц они умыкали у воды. Радимичи, вятичи и северяне жили в лесу, как звери и «срамословили» при отцах и снохах. Между селами устраивались игрища, на которых исполнялись пляски и бесовские песни, и здесь же умыкали себе жен, коих было по две и по три. А если кто умирал, то устраивали по нему тризну, а затем делали большую колоду, возлагали на нее мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам. Этому же обычая держались кривичи и прочие язычники, не знающие закона Божьего.

Как и славяне, гуповцы, устав от взаимных разорений и надругательств, решают (пригласить) искать себе князя (градоначальника), что делается по совету Добромысла (в российской истории – новгородского старца Густомысла). «Начало Российской Истории, - читаем в «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, - представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие (ибо народы хотели законов, но боялись неволи): в России оно утвердилось с общего согласия граждан»<sup>81</sup>. Широко известны летописные слова, приписываемые русичам, чуди, кривичам и иным славянским племенам: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

---

<sup>80</sup> Изборник. Повести Древней Руси. М., Художественная литература, 1986, с. 24.

<sup>81</sup> Карамзин М.Н. «История Государства Российского». СПб., 1851. Т.1, с. 112.

В глуповской истории, как и в российской - вплоть до воцарения первого «самодержца» Ивана Грозного, так же было двадцать два градоначальника (царя). В том числе - шесть градоначальниц (цариц). Щедринские «романсы» изобилуют и портретно-характерологическими сходствами их героев с российскими историческими деятелями. Так, глуповский градоначальник Грустилов похож на Александра I, а Угрюм-Бурчеев, пытавшийся перестроить жизнь глуповцев в соответствии с уставом пребывания в остроге, - на Аракчеева и Николая I.

Описанная Щедриным история города Глупова разнообразна по сюжетам, но поражает своим направленным против человечности содержанием – разнообразнейшими зловредными действиями правителей. Среди таковых – принуждения глуповцев к непосильным государственным поборам и местным «даням», наполняющим карманы градоначальников, понуждения участвовать в разного рода проектах: от «войн "за просвещение"» с выращиванием для потребления и на продажу горчицы, разведения персидской ромашки, устройства под домами каменных фундаментов и учреждения в Глупове академии – до морения голодом, фальшивых тревог, стрельбы по жителям из пушек в ходе войсковых маневров и доведения населения до полного одичания. В последнем случае глуповцы обносились до наготы, стали обрастать шерстью и сосать лапы.

Один только раз жители попробовали протестовать тем, что написали жалобу «во все места Российской империи», в которой сообщали, что начальство у них «неискусное, ко взиманию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное». А заканчивали тем, что «и дальше терпеть согласны», однако опасаются, как бы градоначальник их перед высшими властями «не оклеветал». К слову сказать, опасаться было чего, так как многие правители, не умея справиться с подначальным населением, призывали войсковые команды.

Вообще, готовность снести все зло, в отношении них творимое, - странная, неоднократно отмечаемая в истории, устойчивая характеристическая особенность глуповцев-россиян:

«- Мы люди привышные! – говорили одни, - мы потерпеть можем. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не молвим!

- Это что говорить! – прибавляли другие, - нам теперь можно! Потому мы знаем, что у нас есть начальники!»<sup>82</sup>

Как врач, имеющий дело с застарелым и опасным недугом, в диагнозе и описании болезни Щедрин беспощаден. Один только раз в «Истории» он изменяет своему едкому сарказму и обращает наше внимание на действительно героическое поведение народа. Я имею ввиду описание сцены городского пожара, когда близкое к реальности изображение ужасного бедствия заставляет автора сменить манеру письма. В тексте, содержащем суровое авторское наблюдение над человеческим горем, звучат редкие гордо-торжественные слова об обыденном русском героизме. На крик матери «Матренка где?» «выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещит потолок. Наконец парень показывается среди облаков дыма; шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль: Матренка! Матренка! где ты?»<sup>83</sup> К счастью, Матренка действительно со страху убежала на огород и там, между грядками, заснула.

И вот ведь как интересно! В крайней, смертельно опасной ситуации, когда нужно ставить на кон свою жизнь, не ждет приказания от начальства русский человек, сам распоряжается своей жизнью, смертельно рискует ей. Отчего же в других случаях он так пассивен и покорен?

---

<sup>82</sup> Там же, с. 344. «Долгое рабство, - отмечал в своих размышлениях о русском народе А.И. Герцен, – факт не случайный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она. Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего...»

<sup>83</sup> Там же, с. 359.

В череде глуповских градоначальников, как правило, отличающихся друг от друга лишь степенью проявления личного идиотизма, непреклонности и жестокости в достижении цели, есть две фигуры иного образа действий. Это назначенный на место градоначальника Негодяева «черкашенин» Микаладзе и подполковник Прыщ, в другом месте именуемый автором майором.

Первый назван автором «зачинателем» того мирного пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. «Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или непрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение - это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов, - и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными?»<sup>84</sup> Впрочем, деятельность Микаладзе продолжалась недолго. Имея неукротимое и даже «горячее стремление к женскому полу», сей правитель вскоре умер от истощения сил.

---

<sup>84</sup> Там же, с. 395.

Второй градоначальник, вошедший в глуповскую историю как благодетель, был подполковник Прыщ. Сей муж, приехав в город и нанося визиты прочим городским властям, развил перед ними программу совершенно неожиданную.

«- Я человек простой-с, - говорил он одним, - и не для того сюда приехал, чтобы издавать законы-с. Моя обязанность наблюдать, чтобы законы были в целостности и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!

Другим он говорил так:

- Состояние у меня, благодарение Богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть на счет этого законы - те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!

Третьим высказывался так:

- Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многие в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!

Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:

- Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.

Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.

- Ну, старички, - сказал он обывателям, - давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы - что же-с! все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте - я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут не долго и до греха. И имущества свои поपालите, сами погорите - что хорошего!»<sup>85</sup>

Опасавшиеся подвоха глуповцы вскоре, однако, убедились, что Прыщ и в самом деле не чинит им препятствий. В результате доходы от их деятельности в короткий срок – от года до двух лет – выросли в три и даже в четыре раза. Они стали зажиточнее, спокойнее и увереннее в себе. Но вместе со свободой у глуповцев, как отмечает Щедрин, начал развиваться и ее извечный спутник – анализ. «Неокрепшие в самоуправлении» жители города, начали подумывать - а нет ли в происходящем какой-то чертовщины и вследствие этого стали усиленно следить за Прыщом.

Отчего же упомянутые начальники не чинили бед глуповцам? Микаладзе, как сообщает нам автор, потому, что был полностью поглощен своей собственной (терпимой в глуповском обществе) страстью. Лишь однажды, у него произошло сражение с мужем одной из посещаемых им в ночи дам, да и то это ничтожное событие даже не попало в городскую летопись, к которой постоянно адресуется автор.

Интереснее возможное объяснение стихийного либерализма (живи сам и жить давай другим) подполковника Прыща. Щедрин сообщает нам, что вскоре один из глуповских чиновников - предводитель, одержимый страстью к еде, начал принюхиваться к запахам, издаваемым подполковником. («- Пахнет от него! - говорил он своему изумленному наперснику, - пахнет! Точно вот в колбасной лавке!») И однажды, к неопишуемому изумлению и ужасу иных глуповцев, он решился действовать. «Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.

---

<sup>85</sup> Там же, с. 406.

- Кусочек! - стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.

При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.

Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника "душкой", "милкой" и другими несвойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслышанным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил...

За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству, город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания»<sup>86</sup>.

Что может заключить о сообщаемом читатель? Очевидно, что финал этой истории сопровождают два неявных, но все же содержащихся в тексте вывода. Во-первых, желательность наличия у российской власти здравого смысла и того, что можно было бы назвать стихийным либерализмом. Только в соответствии с ними правитель не гнетет своих подданных, не уничтожает

---

<sup>86</sup> Там же, с. 410.

их трудов. При этом его собственная голова может представлять собой что угодно, включая вместилище для фарша - перемешанной однородной массы измельченных продуктов, в том числе - разнообразных несистематизированных знаний, мнений и идей. Второй же вывод – об обязательности наличия у жителей навыков к самоуправлению. В этом случае, могло бы стать, и сама власть в виде градоначальников им бы не потребовалась в полном объеме.

Впрочем, последнее замечание из области, на которую писательское занятие Салтыкова-Щедрина не распространялось. Напротив, в чем-то вспоминая прошедшие николаевские, а в чем-то почти предугадывая будущие советские времена, он создает образ Угрюм-Бурчеева – высшей точки развития российской власти, достигнув которой, как он полагал, история в прежнем ее виде должна была прекратиться.

Образом Угрюм-Бурчеева, равно как и другими персонажами «Сатир в прозе» (1863) и «Истории одного города» (1869) Щедрин в определенном смысле откликается и на вошедшую тогда в общественно-политическую и литературную российскую моду тему «новых людей». Напомню, что роман «о новых людях» Чернышевского вышел в 1863 году, а тургеневские «Отцы и дети» и «Дым» - соответственно, в 1862 и в 1867 годах.

Угрюм-Бурчеева – этот «простой, изнуренный шпицрутенами прохвост», так же как и иные «новые люди», возникает из «ниоткуда». Выделиться из общей массы чиновников ему позволяет готовность отрубить себе указательный палец правой руки, дабы доказать любовь к своему начальнику. За это – отрубленный палец - его назначают глуповским градоначальником. И этот поступок – «альфа и омега» той родословной, того духовного наследия, которым располагает сей «идиот», как неустанно величает его Щедрин.

Примечательно, что в отличие от прочих городских начальников, Бурчеев не обладает каким-то фантастическим или органическим отклонением – органчиком с записанным в нем текстом «Не потерплю!» и

«Разорю!», фаршированной головой или неукротимым сластолюбием. Внешне он ничем не отличим (кроме «стального взгляда светлых глаз») от прочих людей, однако совершенно не похож на них своим образом жизни и привычками. Так, «он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам ("причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов", прибавляет летописец).

...На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? - это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то следствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх»<sup>87</sup>.

Как человек ограниченный Бурчеев поклонялся одному богу – простоты и прямолинейности. Разума он не признавал вовсе, считая его не только не

---

<sup>87</sup> Там же, с. 446.

благодетелем, но злейшим врагом человека, поскольку именно из него исходят обольщения и опасные «привередничества».

Говоря о бурчеевском поклонении «простоте», Щедрин обозначает ее реальных поклонников – коммунистов и социалистов. Он, правда, напрямую не говорит об «общественных работах», фаланстерах и иных прочих формах «коллективной жизни». Но то, что успевают сделать в Глупове Угрюм-Бурчеев – из этой области. А реализует Бурчеев свой проект в точности в соответствии с давно составленным и продуманным до мелочей планом.

«Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине - площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал - и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка - словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины - не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна стороны улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся

друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других – исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, - размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них - писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весной, немедленно после таянья снегов, называется "Праздником неуклонности" и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой - осенью, называется "Праздником предержавших властей" и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот - полк.

Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно Город, который из Глупова переименовывается в "вечно-достойная памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск". Над городом царит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облакаются в единообразные одежды (по особым, апробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в "манеж для коленопреклонений", где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопу в "манеж для телесных упражнений", где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в "манеж для принятия пищи", где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, - все по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по

прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз - первой! раз - другой! -

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!

Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: "Шабаш!" Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через "манеж для принятия пищи" и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закату всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...

Ни бога, ни идолов - ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, - вот сущность этой кантонистской фантазии...»<sup>88</sup>

Столь пространное описание бурчеевского замысла приведено для того, чтобы появилась возможность его сопоставления, например, с щедринским

---

<sup>88</sup> Там же, сс. 449 – 452

литературным близнецом – сценами жизни, труда и счастливого отдыха «людей будущего» в снах героини Чернышевского Веры Павловны. Напомню, что до недавнего – советского - времени это столь любимое Лениным «художественное» произведение было одним из важнейших в школьной программе для старшеклассников, а содержащиеся в нем фантазии и образы были тем, что вполне серьезно предлагалось в качестве подлинных образцов смыслов и ценностей русской культуры.

Естественно, что приведенный бурчеевский близнец ни под каким видом не мог быть упомянут, не то чтобы сравним с образцом школьным. Само собой, никто и ни под каким видом не мог указать на ужасающую аналогичность живописуемого Чернышевским «коммунистического» и проектируемого Угрюм-Бурчеевым военизированной-поселенического «счастья» с реалистической фантастикой романа Андрея Платонова «Котлован», тем более, что советскому читателю ничего об этом великом произведении не было известно и прочитать его он возможности не имел.

В предложенных аналогиях есть и более глубокая, мировоззренческая основа. Прежде всего, она касается грандиозности замысла, его масштабов и связанных с этим неизбежных изменений во всем строе жизни как жителей конкретной страны, так и людей, населяющих планету. У Чернышевского, например, гигантские дворцы из алюминия и особого стекла, под которыми укрываются целые города и поля, атрибут не только «близкого» будущего России с ее «новыми людьми», но и мира в целом, поскольку развитие всех стран должно идти по схемам, в которые верит автор «Что делать?»

В «Котловане» Платонова будущее человечества так же легко просматривается за преобразованиями и судьбой российских героев. Но может быть Платонов изобретал нечто не сообразное времени и вовсе фантастическое? До времени не ставя перед собой цель подробного анализа подобного рода советских проектов, - время их рассмотрения впереди, когда я обращусь к советской литературе 30-х годов XX столетия, - сейчас приведу лишь один пример вполне серьезного партийного (большевистского) к ним

обращения. Вот как проблема коммунистического преобразования мира виделась российским марксистам через несколько лет после их прихода к власти.

Консервативное крестьянство – огромное большинство России, полагали они, никак не может понять, что если «век буржуазии» был «веком пара», то «век социализма» будет «веком электричества». Электрификация сельского хозяйства превратит раздробленных мелких собственников в общественных работников, варварские орудия заменит последним словом техники, ликвидирует диспропорции между развитием промышленности и сельского хозяйства, противоположность между городом и деревней. Но чтобы выйти на этот невиданно высокий уровень развития производительных сил, социализму, как и капитализму, требуется свое «первоначальное социалистическое накопление»<sup>89</sup>. Основное содержание этого процесса при социализме, согласно идеям одного из ведущих российских идеологов того времени, члену большевистского политбюро Н.И. Бухарину, - мобилизация живой производительной силы путем ее принуждения.

Однако в отношении городского пролетариата эта задача усложняется тем, что он не представляет собой целостность. Есть «передовые слои», есть «середина» и есть «шкурники». (Последние, как правило, стоят ближе всего к «мелкой буржуазии» — крестьянству.) Отсюда — совершенно необходима принудительная дисциплина пролетариата по отношению к самому себе. Все это, в конечном счете, создает возможности для уничтожения буржуазной «свободы труда», так как последняя несовместима с плановым коммунистическим хозяйством, включающим плановое распределение рабочих сил. Вот почему, полагал Бухарин, можно утверждать, что «...режим трудовой повинности и государственного распределения рабочих рук при диктатуре пролетариата выражает уже сравнительно высокую степень

---

<sup>89</sup> Сущность "первоначального капиталистического накопления", состоящая в сгоне крестьян с земли, превращении их либо в пролетариев, либо в бродяг с последующим физическим уничтожением в соответствии с законом о бродяжничестве, раскрыта К. Марксом на примере Англии в XXIV главе "Капитала".

организованности всего аппарата и прочности пролетарской власти вообще»<sup>90</sup>.

Одним из непоколебимых сторонников «военно-коммунистических» приемов перехода к новому строю был и другой видный теоретик и руководитель партии большевиков Е.А. Преображенский<sup>91</sup>. В написанном в 1921 году научно - футурологическом эссе «От нэпа к социализму. Взгляд в будущее России и Европы» этот теоретик от лица героя произведения - профессора русской истории Минаева (который, будучи «гармонически развитой личностью», одновременно с профессорскими занятиями также служит слесарем в железнодорожных мастерских) рассказывает в 1970 году о событиях после введения нэпа. Прежде всего, обращается к своим слушателям профессор-слесарь, вы должны попытаться в истинном свете представить тех людей, которые участвовали в революции. «Вам, например, трудно поверить, что великие дела этой эпохи совершали люди с такими слабостями, недостатками, иногда с преступными наклонностями, почти всегда с необычайно низким культурным уровнем, как было в действительности, поскольку мы говорим об общей массе, а не об отдельных единицах или небольших группах»<sup>92</sup>. Эти люди с психологией, представляющей из себя поле сражения между «вчера» и «завтра», несли на себе все вековое варварство и некультурность.

Что же было в России, начиная с 1921 года? После введения нэпа в экономике воцарился «рыночный хаос». Финансируемая Госбанком и руководимая ВСНХ промышленность функционировала капиталистически — например, торговала не только с необобществленной частью хозяйства, но и внутри социалистического сектора. Экономику начали потрясать

---

<sup>90</sup> Бухарин Н. Экономика переходного периода. М., 1920, с. 145

<sup>91</sup> В отличие от него Н.И. Бухарин, вначале отнесшийся к нэпу как к похоронам Октября, впоследствии во многом пересмотрел свои взгляды, за что и получил от Сталина и его клики в конце 20-х годов ярлык защитника интересов кулачества и идеолога "правых".

<sup>92</sup> Преображенский Е. От НЭПа к социализму. Взгляд в будущее России и Европы. М., 1922, с. 81

перепроизводства и дефицит, средства тратились неоправданно и т. п. В этих условиях должно было возобладать плановое начало. Государство взяло все в свои руки: было известно — сколько, чего, кому, как, из чего, куда и когда должно быть произведено и поставлено. Интересы производителей и потребителей замечательно совпали.

Но этим были решены не все проблемы. Оставалось необобществленное сельское хозяйство. Государство начало планомерную и всеохватывающую работу по учету крестьянского производства и рынка. Посредством рычагов цен сельское хозяйство стало включаться в плановое регулирование. Но все же проблема равномерного развития промышленности и сельского хозяйства оставалась. Нужно было переходить от мелкотоварного производства к крупному социалистическому земледелию. Этот шаг сделать до поры не удавалось. Люди еще «не поняли» всех преимуществ социализма. Нужен был, кроме того, длительный период «всеобщей слежки друг за другом», чтоб качественная и продуктивная работа сделалась привычной, стала «инстинктом труда», выковавшимся из «разумного принуждения». (Вспомним, что и в проектах Угрюм-Бурчеева обязательной фигурой на всех уровнях государственной и производственной пирамиды неизменно присутствовала фигура шпиона. Ну не провидец ли Щедрин?)

Одновременно Советское государство начало испытывать «ограниченность своих экономических средств для мощного движения вперед», подкрепляет свою позицию Преображенский, который, так же как и Бухарин активизировал свою не только практическую, но и теоретическую деятельность в условиях, когда формальный лидер Ленин, был серьезно болен. Требовалось, - резюмирует он, - новое перераспределение производительных сил Европы. «Психологически это выжалось в известном «натиске на капиталистические страны», во все более и более нервном ожидании пролетарской революции на Западе и в нетерпении, напоминавшем нетерпение 1917 - 1920 гг.»<sup>93</sup>. Развитие производительных

---

<sup>93</sup> Там же, с. 119

сил России толкало ее в Европу с тем, чтобы ускорить поворот ее производительных сил в сторону России. «Если б революция на Западе заставила себя долго ждать, такое положение могло бы привести к агрессивной социалистической войне России с капиталистическим Западом при поддержке европейского пролетариата»<sup>94</sup>.

Этого не произошло: революция в Европе, фантазирует далее Преображенский, сама стучалась в двери. Массы разочаровались в капитализме. События разворачивались стремительно. Возникли Советская Австрия и Советская Германия. Против них выступили Польша и Франция, но внутри этих стран начались восстания рабочих. В войну вступила Советская Россия. Конница Буденного лавиной прокатилась по степям Румынии и воссоединила Болгарию и Россию. Красная Армия и вооруженные силы Советской Германии вступили в Варшаву. Победа пришла к пролетариату Франции и Италии. Помощь буржуазии Северо-Американских Соединенных Штатов, спешившая через океан, опоздала. Возникла Федерация Советских республик Европы с единым плановым хозяйством. Промышленность Германии соединилась с русским земледелием. Советская Россия, перегнавшая до этого Европу в политической области, теперь «скромно заняла свое место экономически отсталой страны позади передовых индустриальных стран пролетарской диктатуры»<sup>95</sup>. Таков, как считал Преображенский, должен был быть весьма вероятный, если не неизбежный переход России и других стран Европы от капитализма к коммунизму.

«Нет ничего опаснее, - итожит свое мнение об Угрбм-Бурчееве и ему подобных Щедрин, - как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздой и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия

---

<sup>94</sup> Там же, с. 120

<sup>95</sup> Там же, сс. 137 – 138.

самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, - вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...»<sup>96</sup>

А теперь задумаемся: есть ли существенное отличие планов Угрюм-Бурчеева по перегораживанию реки «от сих до сих» с последующим созданием «сухого места» и с планом города-казармы, с одной стороны, от планов перекраивания европейской географии большевиками, с другой? Еще раз подчеркну: все это не имело никакого отношения к истинным потребностям и формулируемым желаниям как глуповцев (россиян), так и европейцев.

В предложенных к рассмотрению аналогиях между замыслами героев Щедрина, Чернышевского и Платонова есть и еще одно мировоззренческое основание. Оно связано с представлениями автора «Что делать?», щедринского персонажа и героев «Котлована» о том, как они понимают тот процесс, которым заняты и который обозначается словом «создавать». И в этом, к чести Угрюм-Бурчеева, он один мыслит свое действие в полной мере адекватно, то есть технологично и операционально. Он один понимает, что «создавать» - значит, прежде всего, уничтожать уже существующее. (У Чернышевского нет описаний уничтожения прежней жизни – сны счастливо избавляют их наблюдателя от этих неизбежных ужасов). Вот как это подается у Щедрина.

«Когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как

---

<sup>96</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Цит. соч., с. 461.

один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и все идут, все идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки - все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

- Казар-р-мы! – совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

- Казар-р-мы! - в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

...Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово "создавать" в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? - "Создавать" - это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил»<sup>97</sup>.

Глуповского градоначальника окоротила стихия: он не смог укротить реку - остановить ее и очистить от нее место сухое место. Героев Чернышевского – по крайней мере, в их снах – не останавливало ничто. Герои «Котлована» останавливались лишь собственной смертью. Но и эта

---

<sup>97</sup> Там же, с. 453.

ничем не устранимая, фатальная перспектива их тоже не пугала: жить было ужаснее<sup>98</sup>.

Все «планы» бурчеевых и фантазии чернышевских были бы пустым звуком, если бы не попадали на благодатную почву российской готовности «потерпеть», даже и в том случае, если весь народ «в кучу сложить и с четырех концов запалить». Над этим феноменом русского мировоззрения думали многие мыслители. Вспомним, как размышлял об этом Герцен: какова «причина этого равнодушия народа, этой апатии в несчастьях и страданиях? История русского народа представляет, в самом деле, очень странное зрелище. В течение более чем тысячелетнего своего существования русский народ только и делал, что занимал, распахивал огромную территорию и ревниво оберегал ее как достояние своего племени. Лишь только какая-нибудь опасность угрожает его владениям, он поднимается и идет на смерть, чтобы защитить их; но стоит ему успокоиться относительно целостности своей земли, он снова впадает в свое равнодушие – равнодушие, которым так превосходно умеют пользоваться правительство и высшие классы.

Поразительно, что народ этот не только не лишен мужества, силы, ума, но, напротив, наделен всеми этими качествами в избытке. Действительно, русские крестьяне более развиты, чем земледельческий класс почти во всей Европе»<sup>99</sup>.

На поставленный вопрос о равнодушии народа, его апатии в несчастьях и страданиях ответа у Герцена не находим. Нет его и у многих других отечественных мыслителей – литераторов и философов. Но, может быть, мы

---

<sup>98</sup> Приведенная аналогия «Щедрин – Чернышевский – Платонов», выходящая за пределы XIX столетия в век XX, кажется вполне реальной. В подтверждение этого я могу привести наблюдение известного отечественного философа-марксиста М.А. Лифшица, который хотя и пребывал в конфронтационных отношениях с советской властью, но в целом рассматривал ее как опыт, который нуждается в улучшении и может быть улучшен. Так вот, о рассматриваемом явлении – насильственном целенаправленном преобразовании человеческой природы - он писал как о своеобразной властной «революции сверху», прямо указывая на Щедрина как исследователя «самодержавного терроризма» и на его героя «нивелизатора Угрюм-Бурчеева». См.: Лифшиц Мих. Что такое классика? М., Искусство XXI век, 2004, с. 49.

<sup>99</sup> Герцен А.И. Эстетика. Критика. Проблемы культуры. М.: Искусство, 1987, сс. 471–472.

приблизимся к нему после исследования феномена русского мировоззрения в его совокупности?

\* \* \*

В литературоведческих исследованиях о сборнике рассказов «Помпадуры и помпадурши», опубликованных с 1863 по 1874 годы, нет ответа на существенный вопрос, который возникает в связи с прочтением этого произведения. Если этот сборник содержательно стоит в одном ряду с «Историей одного города», а изображенные в нем герои – суть одни и те же персонажи (губернаторы, градоначальники и их бюрократия)<sup>100</sup>, то зачем автору понадобилось выделять их в отдельное произведение и давать особое имя?

Вошедшие после Щедрина в русский язык слова «помпадуры» и «помпадурши», как известно, происходят от имени всесильной фаворитки французского короля Людовика XVIII маркизы де Помпадур. Слова прижились, поскольку давали имя широко распространенной в России практике назначения людей на ответственные (в том числе, и с точки зрения возможностей для личного «кормления») посты государственного управления не по их профессиональным, личным и деловым качествам, а по знакомству, по преданности, по глубине проявленного кем-то «искательства», в том числе, как нам хорошо известно по современности, и не безвозмездного.

Однако если между героями «Истории» и «Помпадуров» по их должностному положению нет значительных различий, то с точки зрения авторского исследования стоящих за ними явлений, различия эти существенны. Явления под именами «Микаладзе», «Прыщ» или «Угрюм-Бурчеев» рассматриваются Щедриным в содержании их деятельности безотносительно к политико-идеологическим процессам и веяниям, распространенным в кругах столичной и местной бюрократии. Для них в самом общем виде обозначен общий фон – время после отмены крепостного

---

<sup>100</sup> Именно это утверждается, например, Г. Ивановым, автором примечаний к цитируемому мной собранию сочинений Щедрина. См.: Т.2, с. 484.

права и первых административных и судебных реформ Александра II начала 60-х годов. В этих явлениях участвуют прежде всего жители города, которые предстают перед читателем либо как их участники с заранее расписанными ролями, либо как безгласный объект их действия<sup>101</sup>. К тому же, сами явления хозяйственно-материальны, то есть имеют своей целью в первую очередь хозяйственную жизнь жителей и лишь во вторую - образ мыслей и поведение. Приведу еще один пример такого явления. Так, прибывший в город начальник, начал с того, что «спросил книгу, подложил ее под себя и затем, бия себя в грудь, сказал предстоявшим:

- Я вам книга, милостивые государи! Я - книга, и больше никаких книг вам знать не нужно!»<sup>102</sup>

Иного рода явления рисуются Щедриным в случае с «помпадурками». В отличие от ориентированных на хозяйственные и вообще материальные действия градоначальников, эти персонажи служат автору для того, чтобы через них либо раскрыть политико-идеологическую подоплеку перемен, происходящих в России, либо хотя бы указать на веющие на нее европейские ветры. Посредством образов «помпадурков» Щедрин сообщает о мировоззренческих ориентациях, настроениях, упованиях губернской бюрократии, что позволяет нам понять, насколько вообще возможны задуманные царем реформы сверху.

Диапазон мировоззренческого разнообразия оказывается чрезвычайно широк. Он простирается от сложных отношений между разными политическими «партиями» внутри хотя и отдаленных, но все же несколько цивилизованных губерний России – до полной дикости, явленной, например, «прынцем Иззедином-Музафером-Мирзой в Ямудском крае». Описание «действий» «прынца», так и не доехавшего до Петербурга с целью набраться

---

<sup>101</sup> В этой связи Щедрин формулирует: «Обыватель есть не что иное, как административный объект, все притязания которого могут быть разом рассечены тремя словами: не твоё дело!». А, кроме того, он (объект) «находится в том завидном положении, когда оно, ни в коем случае, ни от каких перемен ни выиграть, ни проиграть ничего не может». Салтыков-Щедрин М.Е. Цит. соч., с. 211, 217.

<sup>102</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Цит. соч., с. 29.

ума-разума для проведения реформ, завершают его слова: «Домой ежжал, риформа начинал. Народ гонял, помпадур сажал: риформа кончал».<sup>103</sup> Перейдем, однако, к более подробному рассмотрению произведения.

Героем первой помпадурской истории выступает Дмитрий Павлович Козелков (среди товарищей известный под именем Козленок), обычный мелкий петербургский чиновный бездельник, которого к тридцати годам «обуяла тоска» и который потому решил с помощью своей дальней родственницы - выжившей из ума старухи, получить протекцию и назначение градоначальником в дальнюю Семиозерскую губернию. Прибыв на место, кроме глобального намерения «установить равновесие между спросом и предложением», Козелков ставит перед собой и общественно-политическую цель. «Что нужно, чтобы общество жило в единении?» - нужно удалить от него такие мысли, которые могут служить поводом для раздоров и пререканий»<sup>104</sup>, - так он формулирует и сам же пытается разрешить этот вопрос.

Возможность познакомиться с умонастроениями и политическими ориентациями бюрократической элиты и губернских помещиков предоставляется читателю через сюжет выборов предводителя дворян. По этому случаю в обществе, повествует Щедрин, составилось несколько партий.

Главных, как водится, было две: «консерваторы» и «красные». Лозунгом «консерваторов» было: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай!» На это «красные» возражали: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед!» Внутри партий было много разветвлений. Так, у «консерваторов» была партия «маркизов», которая утверждала, что главное достоинство предводителя должно состоять в том, чтобы он обладал «грасами». Ее предводителем был ветхий старикашка, почти совершенно выживший из ума, но, с помощью парика, вставных зубов и корсета, казался

---

<sup>103</sup> Там же, с. 290.

<sup>104</sup> Там же, с. 73.

еще молодцом; он очень мило сюсюкал, называл семиозерских красавиц «belle dame» и любил играть маркизов на домашних спектаклях.

Другая была партия «крепкоголовых», которая утверждала, что для предводителя нужно только одно: чтоб он шел неуклонно. Сторонники ее были многочисленны и славились дикою непреклонностью убеждений, вместимостью желудков, исполинскими размерами затылков, необычайною громадностью кулаков и способностью производить всякого рода шумные манифестации, то есть подносить шары на блюде, кричать «ура!» и зыком наводить трепет на противников. «Между "крепкоголовыми" самыми заметными личностями были Созонт Потапыч Праведный и Яков Филиппыч Гремикин. Праведный происходил из приказных; это был мозглявый старичишка, весь словно изъеденный желчью, весь сведенный непрерывною судорогой, которая, как молния в грозных облаках, так и вилась во всем его брэнном теле. Но репутацию этот человек имел ужаснейшую. Говорили, что, во время процветания крепостного права, у него был целый гарем, но какой-то гарем особенный, так что соседи шутя называли его Дон Жуаном наоборот; говорили, что он на своем веку не менее двадцати человек засек или иным образом лишил жизни; говорили, что он по ночам ходил к своим крестьянам с обыском и что ни один мужик не мог укрыть ничего ценного от зоркого его глаза. Весь околоток трепетал его; крестьяне, не только его собственные, но и чужие, бледнели при одном его имени; даже помещики - и те пожимались, когда заходила об нем речь. Пять губернаторов сряду порывались "упечь" его, и ни один ничего не мог сделать, потому что Праведного защищала целая неприступная стена, состоявшая из тех самых людей, которые, будучи в своем кругу, гадливо пожимались при его имени. Зато, как только пронеслась в воздухе весть о скорой кончине крепостного права, Праведный, не мешкая много, заколотил свой господский дом, распустил гарем и уехал навсегда из деревни в город. Здесь он занялся в обширных размерах ростовщичеством, ежедневно посещал клуб, но в карты не играл, а поджидал, не угостит ли его кто-нибудь из должников чаем. В

партии "крепкоголовых" он представлял начало письменности и ехидства; говорил плавно, мягко, словно змей полз; голос имел детский; когда злился, то злобу свою обнаруживал чем-то вроде хныканья, от которого вчуже мороз подирал по коже. Словом сказать, это был человек мысли. Напротив того, Гремикин был человек дела. Здоровенный, высокий, широкий в кости и одаренный пространством и жирным затылком, он рыком своим поражал, как Юпитер громом. Он был не речист и даже угрюм; враги даже говорили, что он, в то же время, был глуп и зол, но, разумеется, говорили это по секрету и шепотом, потому что Гремикин шутить не любил»<sup>105</sup>.

Наконец, третья партия называлась партией «диких» и также была довольно многочисленна. Члены ее были люди без всяких убеждений, приезжали на выборы с тем, чтобы попить и поесть на чужой счет, целые дни шатались по трактирам и удивляли половых силою **клапштосов** и умением с треском всадить желтого в среднюю лузу. Многие из них были женаты и обладали многочисленными семействами, но все сплошь смотрели холостыми, дома почти не жили, никогда путным образом не обедали, а все словно перехватывали на скорую руку. К общественным делам они были холодны и шары всегда и всем клали направо.

Партия «красных» также делилась на три отдела: на так называемых «стригунов», «скворцов» и «плакс или канюк». К «стригунам» принадлежали сливки семиозерской молодежи, люди с самоновейшими убеждениями и наилучшим образом одетые. «Стригуны» мечтали о возрождении и в этих видах очень много толковали о *principes* (принципах). На Россию они взирали с сострадательным сожалением. В крестьянской реформе видели «попытку... прекрасную», но в то же время утверждали, что если б от них зависело, то, конечно, дело устроилось бы гораздо прочнее. Впрочем, в отношении «принципов» «стригуны» (либералы по наклонностям) никогда ни до чего договориться не могли, так как полагали, что принципы можно при желании сделать из чего угодно, в том числе – и из регулярного

---

<sup>105</sup> Там же, сс. 93 – 94.

посещения бани. С другой стороны, выше всего на свете они ценили вкусную еду и канкан.

«Скворцы» собственных убеждений не имели. Это были веселые и совершенно пустые малые, которые вполне сошлись бы со «стригунами», если бы политические теории последних о самоуправлении, о прерогативах земства и бюрократическом невмешательстве не держали их в постоянном страхе. Что же касается «плакс или канюк», то партия эта была не многочисленна и почти исключительно состояла из мировых посредников.

Достижение своей цели «хорошо вести дела» (хотя собственно дела от него никак не зависели и никто его ни к каким делам за ненадобностью не подпускал), помпадур Козелков видел в том, чтобы «всех удовлетворить». При этом он, освоившись на новом месте, и сам преобразился. «Козелков даже и говорить стал как-то иначе. Прежде он совестился; скажет, бывало, чепуху - сейчас же сам и рот разинет. Теперь же он словно даже и не говорил, а гудел; гудел изобильно, плавно и мерно, точно муха, не повышающая и не понижающая тона, гудел неустанно и час и два, смотря по тому, сколько требовалось времени, чтоб очаровать, - гудел самоуверенно и, так сказать, резонно, как человек, который до тонкости понимает, о чем он гудит. И при этом не давал слушателю никакой возможности сделать возражение, а если последний ухитрялся как-нибудь вернуть свое словечко, то Митенька не смущался и этим: выслушав возражение, соглашался с ним и вновь начинал гудеть как ни в чем не бывало. И действительно, внимая ему, слушатель с течением времени мало-помалу впадал как бы в магнетический сон и начинал ощущать признаки расслабления, сопровождаемого одновременным поражением всех умственных способностей. Мнилось ему, что он куда-то плывет, что его что-то поднимает, что впереди у него мелькает свет не свет, а какое-то тайное приятство, которое потому именно и хорошо, что оно тайное и что его следует прямо вкушать, а не анализировать»<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> Там же, с. 113.

Существование помпадур в среде, в которой никто и ни при каких обстоятельствах не берет на себя смелость и заботу показать ему его бесполезность и ничтожество, поощряет его к попыткам саморазвития. Так, перестав удовлетворяться пустым говорением, он формулирует необходимость обеспечения его «публицистом».

«- Под публицистом я разумею такого механика, которому я мог бы подать мысль, намекнуть, а он бы сейчас привел все это в порядок!

- Если вашему вассалству угодно что-нибудь приказать, то, кажется, мы всегда...

- Нет, это не то! я вижу, что вы меня не понимаете! Вы исполняете свои обязанности (разговор идет с начальником канцелярии. – С.Н.), а публицист должен исполнять свои! В Петербурге это ведется так: чиновники пишут свое, публицисты - свое. Если начальник желает распорядиться келейно, то приказывает чиновнику; ежели он желает выразить свою мысль в приличной форме, то призывает публициста! Вы меня поняли?

- Понял-с.

- Следственно, вы должны понять и то, что человек, который бы мог быть готовым во всякое время следовать каждому моему указанию, который был бы в состоянии не только понять и уловить мою мысль, но и дать ей приличные формы, что такой человек, повторяю я, мне решительно необходим. В настоящее время я без рук: ибо, спрашиваю я вас, в чем, собственно, заключается моя обязанность? Моя обязанность заключается в том, чтобы подать мысль, начертить, сделать наметку... но сплотить все это, собрать в одно целое, сообщить моим намерениям гармонию и стройность - все это, согласитесь, находится уже, так сказать, вне круга моих обязанностей, на все это я должен иметь особого человека! Вы меня поняли? Вы поняли, что я хочу вам сказать?

- Но какие же, ваше вассалство, будут занятия у этого публициста?

- Выслушайте меня. Вы уже знаете из объяснений со мной, что на мне собственно лежит, так сказать, внутренняя политика - и ничего больше. Все

эти бумаги: донесения, предписания, подтверждения - все это только печальная необходимость, которой я подчиняюсь единственно потому, что покуда это так требуется. Но главное - все-таки политика. Что такое "политика"? Политика, почтеннейший Разумник Семеныч, - это такое обширное понятие, которое в немногих словах объяснить довольно трудно. Политика - это все. Достаточно будет, если я на первый раз скажу вам, что политика может быть разных родов: может быть политика здравая и может быть политика гибельная; может быть, политика, ведущая к наилучшему концу, и может быть политика, которая ни к чему, кроме расстройства, не приводит. Но для того, чтобы мысль моя была для вас еще яснее, очерчу в легком абрисе мою собственную политику. Я желаю, во-первых, чтобы у меня процветала торговля, во-вторых, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено, и в-третьих, наконец, чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Вот моя внутренняя политика. Но будем продолжать нить нашего рассуждения. Имея таким образом определенную внутреннюю политику, я, с одной стороны, должен быть весьма озабочен ею, с другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждом шагу возбуждать во мне самые разнообразные мысли. При настоящем моем, так сказать, изолированном положении, что делается с моими мыслями? Хотя и горько, но я должен сознаться, что большая их часть забывается и исчезает бесследно. Я мыслю и в то же время не мыслю, потому что не имею в распоряжении своем человека, который следил бы за моими мыслями, мог бы уловить их, так сказать, на лету и, в конце концов, изложить в приличных формах. Вот здесь-то, почтеннейший Разумник Семеныч, именно и нужен мне публицист, то есть такой механик, которому я мог бы во всякое время сказать: "Вот, милостивый государь, моя мысль! Теперь не угодно ли вам привести ее в надлежащий вид!" Вы меня поняли?

- Понимаю, вашеество, и осмелюсь, с своей стороны, доложить...

- Знаю, почтеннейший Разумник Семеныч, знаю! и ко всему мною же высказанному могу прибавить одно: вы меня знаете и, следовательно, можете

быть уверены, что я всегда готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших!

В тот же день публицист был отыскан. Это был некто Златоустов, учитель словесности в семиозерской гимназии, homo scribendi peritus (человек опытный в писании), уже несколько раз помещавший в местной газете статейки о предполагаемых водопроводах и о преимуществе спиртового освещения перед масляным. Вечером он уже имел с Митенькой продолжительное совещание, во время которого держал себя очень ловко, то есть смотрел своему амфитриону в глаза, улыбался и по временам нетерпеливо повертывался в кресле, словно конь, готовый по первому знаку заржать и пуститься в атаку. Одним словом, показал вид, что сочувствует и понимает»<sup>107</sup>.

Итак, с одной стороны, помпадур Козелков озаботился продвижением в общественное сознание своих «идей». Однако с другой, не получая адекватной реакции на инициативы, он стал задумываться о своем истинном положении и предназначении в губернии. В частности, о соотношении своих «упований» и «решений» с действительным их воплощением. И тут он выяснил, что первым его естественным ограничителем, как ни странно, выступает закон, «который в известных случаях разрешает, в других - связывает. И до того времени ему, конечно, было небезызвестно, что закон есть, но он представлял его себе в виде переплетенных книг, стоящих в шкафу. Когда эти книги валялись по столам и имели разорванный и замасленный вид, то он называл это беспорядком; когда они стояли чинно на полке, он был убежден, что порядок у него в лучшем виде. Но разрешающей или связывающей силы закона он не знал и даже скорее предполагал, что закон есть не что иное, как дифирамб, сочиненный на пользу и в поощрение помпадурам. И так как он был человек скромный и всегда краснел, когда его в глаза хвалили, то понятно, что он не особенно любил заглядывать в законы.

---

<sup>107</sup> Там же, 127 – 129.

И вот, в одно прекрасное утро, когда он предположил окончательно размахнуться, правитель канцелярии объявил ему о существовании закона, который маханиями руками поставляет известные пределы.

- Возьмем хоть бы лозу, - сказал он, - есть случаи, в которых действие ее признается полезным, и есть другие, в которых действие ее совсем не допускается-с.

- Что ж, вы, что ли, будете указывать мне, когда можно и когда нельзя? - спросил "он" несколько иронически.

- Не я-с, а закон-с.

- Весьма любопытно.

На этот раз разговор исчерпался; но в то же утро, придя в губернское правление и проходя мимо шкафа с законами, помпадур почувствовал, что его нечто как бы обожгло. Подозрение, что в шкафу скрывается змий, уже запало в его душу и породило какое-то странное любопытство.

Что заключается в этих томах, глядящих корешками наружу? Каким слогом написано то, что там заключается? Употребляются ли слова вроде "закатить", "влепить", которые он считал совершенно достаточными для отправления своего несложного правосудия? или, быть может, там стоят совершенно другие слова? И точно ли там заключается это странное слово "нельзя", которое, с самой минуты своего вступления в помпадур, он считал упраздненным и о котором так не в пору напомнил ему правитель канцелярии?

Все это было до такой степени любопытно, что, несмотря на то, что он всячески старался не выказать своего беспокойства, но под конец не выдержал-таки и, как-то боязливо улыбаясь, обратился к правителю канцелярии:

- А, ну-с: желаю я, например, подвергнуть телесному наказанию мещанина Прохорова... как-с? разрешите вы мне или нет?

- Мне что же-с! не я, а закон-с.

- Ну, положим, хоть бы и закон-с?

Правитель канцелярии направился было к шкафу, но на полдороге остановился.

- Келейно высечь-с? - спросил он.

- Нет, не келейно, а как следует... по закону-с!

Правитель канцелярии раскрыл том и показал статью о лицах, изъятых от телесного наказания.

Он прочитал однажды; потом как-то механически повторил прочитанное по складам. На него вдруг пахнуло чем-то совершенно новым и неожиданным.

- А в указе, который по сему предмету издан был, даже прямо истолковано, - объяснял между тем правитель канцелярии, - что мещане потому от телесного наказания изъемяются, что они, как образованные, имеют больше чувствительности...

- А в каком университете Прохоров образование получил?

- Какое образование-с... просто дикий человек-с!

- Влепить ему!»<sup>108</sup>

Из дальнейших бесед с начальником канцелярии, однако, следовало, что такое пренебрежение законом не может пройти бесследно. На вопрос же Козелкова, до каких пор он может нарушать закон, последовал ответ: «до поры, до времени-с». Эта многозначная, многозначительная и столь же неопределенная фраза не давала покоя жаждущему определенности помпадуру. Кроме того, из дальнейшего разговора с мудрым Разумником Семенычем всплыла и до сих не упоминаемая фигура ревизора, могущего выступить для помпадура врагом. Но как соотносятся между собой ревизор и шкаф с законами? И Козелков принялся рассуждать.

«Что такое ревизор? Это человек, сложенный из такого же материала, как и он, помпадур. Это помпадур в квадрате - и ничего больше. Он приступает к делу с такими же голыми руками, как и самый последний из помпадуров. Он может знать, что происходит в шкафу с законами, но может

---

<sup>108</sup> Там же, сс. 135 – 136.

и не знать - дело от того отнюдь не пострадает. Он тоже ограничен словами "до поры до времени" и, стало быть, в свою очередь, должен состоять в непрерывном опасении другого ревизора. Этот последний будет уже помпадур в кубе, но все-таки не более как помпадур, имеющий в виду грядущего вдали помпадура четвертой степени. Какое же отношение ко всему этому может иметь шкаф с законами?

Но, быть может, в этом шкафу заключался не самый источник "поры" и "времени", а только тот материал, который давал возможность в удобный, по усмотрению, момент определить "пору" и "время"? Это ли хотел сказать правитель канцелярии?

Вероятнее всего, последний именно так и разумел это дело. Он был слишком опытен в обращении с шкафами, чтобы видеть в них что-нибудь больше, нежели простые шкафы. За бытность его в этой должности, перед глазами его преемственно прошло до десятка помпадуров, и все они исчезли, как дым, именно в силу правила: до поры до времени. В этом правиле заключалась, по мнению его, вся жизнь. Он распространял его не только на помпадуров, но и на всю природу, на все окружающее. Видел ли он беззаветное ликование или осторожность, доходящую до трепета, он говорил: до поры до времени, и всегда оказывался пророком. На ликующего человека набегал помпадур и с словами: "Ты что горло-то распустил?" - приказывал взять его в часть. Тот же помпадур набегал и на осторожного человека и с словами: "Прятаться, что ли, ты от меня хочешь?" - тоже приказывал взять его в часть. Даже и самого себя правитель канцелярии не исключал из этого правила и знал, что и для него придет пора и время»<sup>109</sup>.

Однако если для правителя канцелярии «закон жизни «до поры, до времени» был несомненен, то с ним не мог согласиться помпадур Козелков. Пытаясь найти разгадку в самой действительности, он, как многие герои русских литературных произведений (Чичиков, герои соллогубовского «Тарантаса» или некрасовские крестьяне, например), отправляется в мир.

---

<sup>109</sup> Там же, сс. 139 – 140.

Ответ на вопрос, нужны ли помпадуры и от каких источников – от повелений помпадуров или предписаний законов – эта жизнь питается, Козелков пожелал узнать от самого народа, «чистого сердцем и нищего духом».

Первое, что поразило его в процессе шествия по базарной площади, где жители города скапливаются и куда он направился прежде всего, так это то, что народ, не знающий о том, что он – помпадур, совершенно его не замечает. Полицейского унтер-офицера замечает, дорогу уступает, знаки внимания и всяческой готовности обрести если не дружбу, то хотя бы временное расположение, выказывает, а ему, помпадуру, у которого этих ничтожных унтер-офицеров множество, нет. Кроме того, и сами слова «закон» и «помпадур» ни разу не долетели до его слуха! Торговец кожами, к которому Козелков обратился, не узнал его и не знал его, градоначальника, имени. А на вопрос: «как живете?», - последовал тот же загадочный ответ: «до поры, до времени».

Козелков не понимает:

«- Почтеннейший! - обратился он к мещанину, - я человек приезжий и имею надобность до вашего градоначальника. Каков он?»

- А как вам, сударь, сказать. Нужды мы до сих пор в господине градоначальнике не видели.

- Однако ж?

- Так точно-с. От съезжей покуда бог миловал, а о прочем о чем же нам с господином градоначальником разговор иметь?

- Стало быть, так живете, что и опасаться вам нечего?

- Ну, тоже не без опаски живем. И в Писании сказано: блюдите да опасно ходите. По нашему званию каждую минуту опасаться должно.

- Чего же вы боитесь? О градоначальнике, как вы сами сейчас сказали, даже понятия не имеете - закон, что ли, вам страшен?

- И о законе доложу вам, сударь: закон для вельмож да для дворян действие имеет, а простой народ ему не подвержен!

- Не понимаю.

- Да и не легко понять-с, а только действительно оно так точно. Потому, народ - он больше натуральными правами руководствуется. Поверите ли, сударь, даже податей понять не может!

- Однако чего же nibудь да боитесь вы?

- Планиды-с. Все до поры до времени. У всякого своя планида, все равно как камень с неба. Выйдешь утром из дому, а воротишься ли - не знаешь. В темном страхе - так и проводишь всю жизнь.

- Но я надеюсь, что господин градоначальник настолько справедлив, что ежели вы ничего не сделали...

В это время к беседующим подошел сельский священник и дружески поздоровался с продавцом картин.

- Вот, отец Трофим, господин приезжий сведение о господине градоначальнике получить желают.

- Надобность имеете? - спросил отец Трофим.

- Да-с, надобность.

- Личного знакомства с господином градоначальником не имею, да и надобности до сих пор, признаться, не виделось, но, по слухам, рекомендовать могу. К храму божьему прилежен и мзду приемлет без затруднения... Только вот с законом, по-видимому, в ссоре находится.

- А они вот и насчет законов тоже разговорились, - вставил свое слово продавец картин, - спрашивают, боится ли простой народ закона?

- Закон, я вам доложу, наверху начертан. Все равно, как планета...»<sup>110</sup>

Неизвестно, чем бы закончились душевные терзания и умственные искания помпадура Козелкова, если бы, как гром среди ясного неба, он не был заменен новым градоначальником. И если при Козелкове, «который любил соединять величие с приветливостью и даже допускал, что самые заблуждения людей не всегда должны иметь непременно последствием расстреляние», при котором горожане «стали в глаза говорить друг другу комплименты, называть друг друга "гражданами", уверять, что другой такой

---

<sup>110</sup> Там же, сс. 150 – 151.

губернии днем с огнем поискать, устраивать по подписке обеда в честь чьего-нибудь пятилетия или десятилетия, а иногда и просто в ознаменование беспримерного дотеле увеличения дохода с пива или бездоимочного поступления выкупных платежей»<sup>111</sup> губерния зажила несколько по-человечески, то при новом начальнике все вернулось на круги своя.

«По внешнему виду, в нем не было ничего ужасного, но внутри его скрывалась молния.

Как только он почувствовал, что перед ним стоят люди, которые хотя и затаили дыхание, но все-таки дышат, - так тотчас же вознегодовал.

Но он был логичен. Он не вошел даже в разбирательство, кто перед ним: консерваторы или либералы.

И вот он раскрыл рот. Едва он сделал это, как молния, в нем скрывавшаяся, мгновенно вылетела и, не тронув нас, прямо зажгла древо гражданственности, которое было насаждено в душах наших...

Случайность эта спасла нас. При кликах всеобщей суматохи, он дал каждому из нас по несколько щипков и затем всецело предался внутреннему ликование.

Но по мере того, как он щипал нас, мы чувствовали, как догорает наше милое, дорогое древо гражданственности.

- О древо! - уныло восклицали мы, - с какими усилиями мы возрастили тебя и, возрадив, с каким торжеством публиковали о том всему миру! И что ж! пришел некто - и в одну минуту испепелил все наши насаждения!

Мы уцелели - но уже без древа гражданственности. Мы не собираемся вокруг него и не щебечем. Мы не знаем даже, надолго ли "он" оставил нам жизнь... Но, соображаясь с веяниями времени, твердо уповаем, что жизнь возможна для нас лишь под одним условием: под условием, что мы обязываемся ежемгновенно и неукоснительно трепетать...»<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Там же, с. 170.

<sup>112</sup> Там же, сс. 180 – 181.

Итак, история помпадура Козелкова закончилась тем же, с чего, по воле случая, она и началась. Впрочем, тема либеральных исканий и насаждения «древа гражданственности» в горожанах Щедриным была продолжена образом другого помпадура.

Еще один представленный в полноте характера и деяний помпадур – Феденька Кротиков, в отличие от Дмитрия Павловича Козелкова, при всей изначальной похожести на представленного ранее, в своей вотчине – Навозном краю - развернул целую политическую эпопею. В помпадуры он угодил почти что случайно: как-то в компании сболтнув хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация и что ее необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть. При этом он обладал добрым сердцем и потому отличался от злых помпадуров, которые, не обладая никакими знаниями и, следовательно, ограничениями, руководствовались лишь нахальством. Они во все вмешивались, всем мешали, везде видели посягательство на собственную власть или попытку ее оскорбления. Поэтому они с утра до вечера все искали, как бы кого истребить, скрутить, согнуть в бараний рог.

Напротив, помпадурская праздность хоть и невежественная, но соединенная с добродушием, не только не вредила обывателю, но даже представляла некоторые выгоды. Добрый помпадур, отмечает Щедрин, застенчив; он никому не мешает и даже избегает лишних объяснений, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Значение своей политики он полагает лишь в том, чтобы не препятствовать другим. Он посещает клуб и всех призывает к согласию. Он ездит на пироги, обеды и ужины и всем желает благополучия. Хороши добрые, невежественные помпадуры! Таким – добрым - был и Феденька Кротиков.

Вместе с тем, он, в отличие от Козелкова, не был бездеятелен. У него была программа, состоящая из ряда пунктов. Прежде всего, в видах поднятия народного духа, он полагал необходимым всенародно объявить: «1) что

занятие курением табака свободно везде, за нижеследующими исключениями (следовало 81 п. исключений); 2) что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему остается недозволительным, и 3) что преследование за ношение бороды и длинных волос прекращается, а все начатые по сему предмету дела предаются забвению, за исключением лишь нижеследующих случаев (поименовано 33 исключения)"». <sup>113</sup>

Первое время административных подвигов Феденьки Кротикова было лучшим. «Это было время либерализма безусловного, которому не только не служило помехой отсутствие мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликующий характер. Феденька рвался вперед, нимало не думая о том, какие последствия будет иметь его рвение. Он писал циркуляры о необходимости заведения фабрик, о возможности, при добром желании, населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства, торговли, и изъявлял надежду, что земледелие, споспешествуемое, с одной стороны, садоводством, а с другой, разведением улучшенных пород скота, принесет желаемые плоды и, таким образом, оправдает возлагаемые на него надежды. Он призывал к себе для совещания купцов и доказывал им неотложность учреждения кожевенных и мыловаренных заводов, причем говорил: прошу вас, господа, а в случае надобности, даже требую. Он приглашал дворян и говорил, что дворянское сословие всегда было опорой, а потому и теперь должно первое подать пример. В ожидании же результатов этой судорожной деятельности, он делал внезапные вылазки на пожарный двор, осматривал лавки, в которых продавались съестные припасы, требовал исправного содержания мостовых, пробовал похлебку, изготовляемую в тюремном замке для арестантов, прекращал чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собирал деньги на учреждение детского приюта, городского театра и публичной библиотеки,

---

<sup>113</sup> Там же, с. 183.

предупреждал и пресекал бунты и в особенности выказывал страстные порывы при взыскании недоимок»<sup>114</sup>.

К несчастью, относительного успеха помпадур достиг лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок. Ко всем прочим его инициативам общество отнеслось безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснеть в невежестве, а земледелие, споспешествуемое сибирскою язвою, давало в результате более лебеды, нежели истинного хлеба. Это тем более озадачило Феденьку, что он, как вообще все администраторы подобного рода не имел надлежащей выдержки и был скорее способен являть сердечную пылкость, нежели упорство в преследовании административных целей.

Феденька разочаровался в либерализме, воочию убедился в лживости идеи, согласно которой «либеральный дух охватил Россию». Он не обнаружил в российском обществе той инициативы, которая отличает истинно великие народы. В этой связи в своем циркуляре в Петербург он даже пожаловался на то, что «упразднение крепостного права многие надежды оставило без осуществления, а прочие и совсем прекратило», что «помещики, под влиянием досады, возбужденной в них упразднением крепостного права, бросились вырубать принадлежащие им леса и продавать оные за бесценок. К сожалению, ощутительной выгоды от сего они не получили никакой, а стране между тем причинили несомненный ущерб».<sup>115</sup>

Кроме отмены крепостного права тормозом общественного развития Кротиков начал подозревать появление гласных судов и земских управ, равно как случившуюся на другом конце Европы Парижскую коммуны и франко-прусскую войну. Впрочем, хотя международные факторы вскоре отпали, но дело развития Навозного края все не шло. И вот в этот момент, когда последние надежды казались утраченными навсегда, Феденька вдруг

---

<sup>114</sup> Там же, с. 184.

<sup>115</sup> Там же, с. 187.

открыл, что мощным стимулом прогресса является система, «которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей...»<sup>116</sup>

Борьба как цель и, одновременно, как процесс, как привычное и достойное в глазах многих занятие, оказалось, кроме всего прочего, и очень удобным для градоначальника. Для него исчезла необходимость что-то понимать, а возникла нужда «определять направление», «ставить задачи», «разворачивать знамена», «бодрить дух».

Вынимая из глубин российского сознания и формулируя эту увлекательную для населения страны, постоянно возникающую в ее истории привычную задачу – задачу борьбы (наряду с неизбежным – защитой Отечества, история полна и изобретаемых государством новаций: бесконечные продвижения на новые территории, благодное окультуривание, умиротворение и, в то же время, «цивилизация» диких народов и племен), Щедрин прибегает к установлению прямых связей своего анализа-повествования с широкими пластами русской философствующей прозы. Вот выдержки из этого текста: душою задуманного заговора будет, конечно, он сам, Феденька, - «...рыцарь без страха и упрека... Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрекшиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командир гарнизонного батальона»<sup>117</sup>.

В процессе борьбы Кротикову пришлось сменить либерализм на консерватизм в поставив во главу угла всегда необходимый и безоговорочно всеми поддерживаемый принцип нравственного возрождения. Взглянув в этом новом качестве на своих прежних товарищей либералов, помпадур Навозного края «выказал при этом такую решимость, что многие тут же раскаялись и только этим успели избежать заслуженной кары. Первым

---

<sup>116</sup> Там же, с. 191.

<sup>117</sup> Там же, с. 193.

принес покаяние правитель канцелярии Лаврецкий и увлек за собой чиновников особых поручений Райского и Веретьева. Лаврецкий в это время уже являл собой только жалкое подобие прежнего Лаврецкого. Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи - либеральные и какие - консервативные. Притом же, имея большое семейство и мотовку-жену, он не мог пренебрегать и жалованьем, тем больше, что Дворянское Гнездо, приносившее при крепостном праве прекрасный доход, теперь ровно ничего не давало. Поэтому, когда Феденька объявил ему, что отныне им предстоит борьба, то он как-то апатически пожевал губами и, сказав: "Что ж... по мне, пожалуй", отправился в канцелярию писать циркуляр о благополучном вступлении Феденьки в новый фазис административной проказливости. Что же касается до Райского и Веретьева, то первый из них не решался выйти в отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая надеялась видеть его камер-юнкером, второй же и прежде, собственно говоря, никогда не был либералом, а любил только пить водку с либералами, какового времяпровождения, в обществе консерваторов, предстояло ему, пожалуй, еще больше. Из остальных либералов Марк Волохов отнесся к Феденькиным проказам как-то загадочно, сказав, что ему кто ни поп, тот батька и что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возродить можно. Затем остался Рудин, который, подобрав небольшую шайку "верных", на скорую руку устроил комитет общественного спасения и в полном его составе отправился агитировать страну в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолюбов».<sup>118</sup>

Ответ на вопрос о том, почему Щедрина понадобилось не только для акцентирования своей идеи, но и вполне иронически включать в текст героев Фонвизина, Гоголя, Гончарова и Тургенева, нужно искать в истории литературы, в том числе – среди сведений о личных симпатиях и антипатиях Щедрина по отношению к авторам «Недоросля», «Ревизора», «Обрыва», «Дворянского гнезда» и «Рудина». Что же до моего мнения, то я думаю, что

---

<sup>118</sup> Там же, сс. 201 – 202.

этот беспрецедентный в истории литературы прием, кроме прочего, позволяет читателю глубже осознать историческую масштабность произносимого автором приговора российской действительности.

Помпадур, сменивший свой политический курс с либерального на консервативный и теперь определяемый расплывчатым словом «борьба», внес еще более неопределенности тем, что сделал ставку на доселе неизвестные в городе социальные слои: всех выбывших из строя либералов Феденька немедленно заменил «шалопаями». «Тут прежде всего фигурировали: Ноздрев, Тарас Скотинин и Держиморда (разыскивали и Сквозника-Дмухановского, но оказалось, что он умер, состоя под судом), которые и сделались главными исполнителями всех Феденькиных предначертаний. Шалопаи сновали по улицам, насупивши брови, фыркая во все стороны и не произнося ни единого звука, кроме "го-го-го!". Вид их навел в либеральном лагере такую панику, что даже либералы посторонних ведомств ("независимые", как они сами себя называли) - и те струсили. Уныло бродили они по улицам, копя вздохами твердь небесную, не решаясь оставить ни службы, ни либерализма, путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгновенно терзаясь надеждой, что их простят. Но шалопаи не прощали. С зоркостью коршуна намечали они скрывающегося в кустах либерала и тотчас же ощипывали его, испуская при этом злорадно-ироническое цыркание. Ряды либералов странным образом поредели, и затем в течение какого-нибудь месяца погибли все молодые насаждения либерализма. Земская управа прекратила покупку плевальниц, ибо Феденька по каждой покупке входил в пререкания; присяжные выносили какие-то загадочные приговоры, вроде "нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения", потому что Феденька всякий оправдательный или обвинительный (все равно) приговор, если он был выражен ясно, считал внушенным сочувствием к коммунизму и галдел об этом по всему городу, зажигая восторги в сердцах предводителей и предводительш»<sup>119</sup>.

---

<sup>119</sup> Там же, с. 202.

На столь странный выбор поддерживающей его общественной силы мудрый Феденька отвечал, что сейчас такое время, что ничего определенного ни в либеральном, ни в консервативном смысле определить нельзя и потому остается лишь опираться на мерзавцев.

Впрочем, и в этом выборе помпадур опасался зайти слишком далеко. Тут, однако, очень кстати поспело известие из Франции о том, что тамошние власти публично отреклись от сатаны и Феденька замыслил сделать подобное в Навозном. С этой целью он обратился к известному в губернии Пустыннику, который, вопреки неизвестно как сложившемуся общественному мнению, терпеть не мог уединения и жил в постоянном веселии в кругу друзей и почитателей. Само собой, что выслушав предложение помпадура возглавить «отречение от сатаны», он отказался, поручив, однако, Феденьке, ежели тот все же вызовет для сражения и публичного посрамления черта, плюнуть ему в рожу.

Более того. Выведенный наконец из равновесия домогательствами Феденьки, он высказал ему свое мнение:

«- ...С сатаной полемику вести хочешь! А я так думаю, что из всего этого пикник у вас, у благонамеренных, выйдет! Делать тебе нечего - вот что!

...А ты, извини ты меня, завистлив очень. Своего-то у тебя дела нет, так ты другим помешать норовишь. Ан вот и вред. Изволь, спрошу я тебя: управали, суд ли - чем они тебе поперек горла встали? пошто ты на всяк час их клянешь? Дело свое они делают - достоверно знаю, что делают! тебя не замают - чего еще нужно! Да и люди отменные! Заговорят - заслушаешься: ровно на гусях играют! Скажи ты мне, Христа ради, какую такую строптивость ты в них заметил?

...Это все у тебя от думы. Брось! пушай другие думают! Эку сухоту себе нашел: завидно, что другие делами занимаются - зачем не к нему все дела приписаны!»<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Там же, сс. 206 – 207.

Тем не менее, помпадур публичное отречение от прежних заблуждений провел, о чем и выпустил соответствующий циркуляр. Одновременно он полностью отказался от услуг либерала Лаврецкого и положился на Скотинина с Ноздревым и Держимордой, которые неумолимо блюли, чтоб «сегодняшние скотининские предначертания были выполнены неукоснительно. В продолжение целого дня они врываются в частные жилища, делают выемки, хватали, ловили, расточали и к ночи являлись к Скотинину с целыми ворохами захваченных книг и бумаг, которые Кутейкин принимал для дальнейшего рассмотрения. Ноздрев, по свойственной ему пылкости нрава, не раз порывался взять взятку, но Держиморда постоянно его удерживал.

- Рано! - увещевал он, - надобно сначала хорошенько себя зарекомендовать! Потом наворачиваем!

А Феденька, видя, что у него день и ночь кипит деятельность, утешался этим и говорил:

- On me dit que ce sont des chenapans - est-ce qiw j'en doute! Mais ils font a merveille mes affaires, et c'est tout ce qu'il me faut! (Мне говорят, что это мерзавцы, - разве я в этом сомневаюсь! Но они чудесно обделывают мои дела, а это все, что мне нужно!)»<sup>121</sup>

Преследование обывателей имело вполне содержательное наполнение. Так, была объявлена борьба за покаяние и против материализма. В своем циркуляре Феденька писал: «"Лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования"», а «Скотинин, как дважды два четыре, доказал ему, что всякое усилие, делаемое человеком, с целью оградить себя от каких-либо случайностей, есть бунт против неисповедимых путей. А, посему: не следует ни пожаров тушить, ни принимать какие-либо меры против голода или повальных болезней. Все это посылается не без цели, но или в видах наказания, или в видах испытания. Следовательно, и в том и в

---

<sup>121</sup> Там же, с. 214.

другом случае не требуется ничего, кроме покорности и твердости в перенесении бедствий.

- Я, вашество, сам на себе испытал такой случай, - говорил Тарас. - Были у меня в имении скотские падежи почти ежегодно. Только я, знаете, сначала тоже мудровал: и ветеринаров приглашал, и знахарям чертову пропасть денег просадил, и попа в Егорьев день по полю катал - все, знаете, чтоб польза была. Хоть ты что хочешь! Наконец я решился-с. Бросил все, пересек скотниц и положил праздновать ильинскую пятницу. И что ж, сударь! С тех пор как отрезало. Везде кругом скотина, как мухи мрет, а меня бог милует!»<sup>122</sup>

Однако и в этом интеллектуальном прозрении, к которому помпадур подошел через отрицание либерализма, консерватизма и через приятие учения о борьбе, он все же не был оригинален. Теория, до которой Феденька додумался лишь трудным процессом либеральных разочарований, «была во все времена основанием всех верований обывателей, всей их жизни. Исстари они безропотно помирали, исповедуя, что против беды да попущения, как ни мудрствуй, ничего не поделаешь. Исстари повелось у них так, что сегодня человек пироги с начинкой ест, а завтра он же, под окнами у соседей, куски выпрашивает. При всем своем простодушии, Феденька отлично постиг это свойство навозенцев. Он понял, что если край будет и вконец разорен вследствие набегов Ноздрева и Держиморды, то у него все-таки останется мужицкая спина, которая имеет свойство обрастать гуще и пушистее по мере того, как ее оголяют.

Итак, и Феденька, и Навозный край зажили на славу, проклиная либералов за то, что они своим буйством накликали на край различные бедствия. Сложилась даже легенда, что бедствия не прекратятся, покуда в городе существует хоть один либерал, и что только тогда, когда Феденька окончательно разорит гнездо нечестия, можно будет не страховаться

---

<sup>122</sup> Там же, с. 215.

имущества, не удобрять полей, не сеять, не пахать, не жать, а только наполнять житницы...»<sup>123</sup>

Но не всегда в окормляемых помпадурями краях происходили столь существенные события как только что представленная смена политических ориентиров. Бывали и времена, как, к примеру, в первые дни великого поста, когда веселия и обильных застолий не наблюдалось, вообще ничего не происходило. Более того, даже на возникшее было желание посетить со скуки редакцию «нашей уважаемой газеты» с целью покалякать и узнать, не предвидится ли новых реформ, в упреждение от главного редактора была получена записка: «Приходить незачем; реформ нет и не будет; калякать не о чем».<sup>124</sup>

Пытаясь спастись от скуки, «сажусь, однако, беру первую попавшуюся под руку газету и приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: "Мы не раз говорили". Конца нет; вместо него: "Об этом поговорим в другой раз". Средине есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхолии, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Сколько лет уж я читаю это "поговорим в другой раз!" Да ну же, поговори! - так и хочется крикнуть...

Я с детских лет имею вкус к русской литературе. Всегда был усердным читателем, и, могу сказать по совести, даже в то время, когда цензор одну половину фразы вымарывал, а в остальную половину, в видах округления, вставлял: "О ты, пространством бесконечный!" - даже и в то время я понимал. Отсеку, бывало, одно слово, другое от себя прибавлю - и понимаю. Но именно нынче возник у нас особенный отдел печатного слова, который решительно ничего не возбуждает во мне, кроме ропота на провидение. Это отдел передовых газетных статей. Читаю, читаю - и ничего ухватить не могу. Только что за что-нибудь ухвачусь, - глядь, уж пропало. Точно сквозь сито так и льется, так и исчезает...

---

<sup>123</sup> Там же, сс. 217 – 218.

<sup>124</sup> Там же, с. 218.

Прежде у нас не было ни гласных судов, ни земских учреждений, но была цензура. При содействии цензуры литература была вынуждаема отсутствием своих собственных политических и общественных интересов вымещать на Луи-Филиппе, на Гизо, на французской буржуазии и т.д. Несмотря на это, писали не только понятно, но даже занятно. Как ни слаба была связь между мной и Луи-Филиппом, но мне было лестно, что русская журналистика не одобряет его внутренней политики. Во внушениях, делаемых Гизо, я видел известное мирозерцание; я толковал себе их так: уж если Гизо так проштрафился, то что же должно сказать о действительном статском советнике Держиморде? И вот, вместе с устроителями февральских банкетов, я кричал: a bas Louis-Philippe! a bas Guizot! (Долой Луи-Филиппа! долой Гизо!), кричал искренно и горячо, хотя лично ничего от того не выигрывал, что Луи-Филипп был 24 февраля 1848 года уволен без прошения в отставку. Выигрывал не я, а мое мирозерцание, выигрывали те политические и общественные идеалы, к которым я себя приурочивал.

Теперь у нас существуют всевозможные политические и общественные интересы. Все дано нам: и гласный суд, и земские учреждения, а сверх того многое оставлено и из прежнего. Тут-то бы и поговорить. По поводу одного порадоваться, по поводу другого излить гражданскую скорбь. Ведь дело идет уж не о дотации герцога Немурского (напели мы за нее порядком Луи-Филиппу в свое время!), а о собственной нашей дотации, в форме гласностей, устностей и т.п. А между тем никто ничему не радуется, никто ни о чем не печалится. Как будто бы никаких дотаций и не бывало. Спыхватился было г. Головачев, издал книгу "Десять лет реформ"... целых десять лет! Но и он никого не утешил и не опечалил, а многих даже удивил.

- Видели, под стеклом "Десять лет реформ" стоят? - изумляясь, спрашивали одни.

- Какие "Десять лет реформ"? когда? зачем? - изумлялись в ответ другие. И только.

Словом сказать, вкус к французской буржуазии пропал, а надежда проникнуть, при содействии крестьянской реформы, в какую-то таинственную суть - не выгорела. И остался русский человек ни при чем, и не на ком ему свое сердце сорвать. В результате - всеобщая, адская скука, находящая себе выражение в небывалом обилии бесформенных общих фраз. Ничего, кроме азбуки, в самом пошлом, казенном значении этого слова. Менандр проводит мысль, что надо жить в ожидании дальнейших разъяснений. Агатон возражает, что жить в ожидании разъяснений не штука, а вот штука – прожить без всяких разъяснений. А бедный дворянин Никанор идет еще дальше и лезет из кожи, доказывая, что в таком обширном государстве, как Россия, не должно быть речи не только о "разъяснениях", но даже о "неразъяснениях" и что всякому верному сыну отечества надлежит жить да поживать, да детей наживать. И все это говорится с сонливою серьезностью, говорится от имени каких-то "великих партий", которые стоят за "нами" и никак не могут поделить между собою выеденного яйца. Скучное время, скучная литература, скучная жизнь. Прежде хоть "рабы речи" слышались, страстные "рабы речи", иносказательные, но понятные; нынче и "рабьих речей" не слышать».<sup>125</sup>

Еще один изображаемый Щедриным помпадурский тип – из деятельных преобразователей природы и общества. Его властвование мы не наблюдаем. Он только готовится направиться в назначенный ему город Паскудск. Сережа Быстрицын происходил из семейства мелких помещиков Чухломской губернии. В отличие от уже явленных типов, он, прежде всего прагматик, не лишенный, однако страсти к конструированию масштабных замыслов. Он отдает себе отчет в том, что в истории отечественных помпадурств нет образцов, которыми стоило бы руководиться. «Это не зиждители, - говорит он, - а заплатных дел мастера. ...Никто не смотрит вглубь, никто не видит корня». Программа, которую он себе составил, отчетлива и, как ему представляется, предельно практична. «Иссушать и уничтожать только

---

<sup>125</sup> Там же, сс. 219 – 221.

болота, а прочее все оплодотворять. Это, коли хочешь, тоже своего рода внутренняя политика, но политика созидающая, а не расточающая. Затем я приступаю ко второй половине моей программы и начинаю с того, что приготавливаю почву, необходимую для будущего сеяния, то есть устраняю вредные элементы, которые могут представлять неожиданные препятствия для моего дела. Таких элементов я главнейшим образом усматриваю три: пьянство, крестьянские семейные разделы и общинное владение землей. Вот три гидры, которые мне предстоит победить»<sup>126</sup>.

На возражение собеседника, что все названное Быстрицыным находится под покровительством закона, следует вопрос: можно ли с любым обывателем, который сидит у себя дома и думает, что находится под покровительством закона, сделать все, что угодно, а, выражаясь образно, поступить с ним по столь любимому в России звуку «фьють»? Ответ очевиден и потому Сережа с упоением спрашивает: но «ежели я, как помпадур, имею возможность обойти закон ради какого-то "фюить", то неужели же я поцеремонюсь сделать то же самое, имея в виду совершить нечто действительно полезное и плодотворное?»<sup>127</sup>

Объяснить свои идеи Быстрицын готов самолично, явившись на крестьянский сход. Он очень надеется на то, чтобы его вполне поняли. Но если этого не произойдет, то тогда (делать нечего) он поручит продолжать дело разъяснения исправнику.

Намерения Сережи Быстрицына собеседник пересказывает своему другу и далее, переходя на новую форму изложения сюжетной линии, Щедрин выходит на собственное формулирование очень важных вещей, которые случились в России спустя немногим более пятидесяти лет с приходом к власти большевиков. В сатирической форме, в самых больших фантазиях не предполагая мысли о реальности высмеиваемого, автор «Помпадуров и помпадурш» оказывается провидцем кровавого будущего своего народа.

---

<sup>126</sup> Там же, с. 231.

<sup>127</sup> Там же, с. 234.

Учитывая важность затронутой темы, воспроизведу диалог касательно планов нового помпадура полностью.

«И знаешь, что он ответил мне? Он ответил: если можно обойти закон для того, чтобы беспрепятственно произносить "фюить", то неужели же нельзя его обойти в видах возрождения? И я вынужден был согласиться с ним!

- И "ты вынужден был согласиться с ним"! - передразнивал меня Глумов.

- Да, потому что, если можно делать все, что хочешь, то, конечно, лучше делать что-нибудь полезное, нежели вредное!

Я так искусно играл силлогизмом: "полезная вещь полезна; Быстрицын задумал вещь полезную; следовательно, задуманное им полезно", - что Глумов даже вытаращил глаза. Однако он и на этот раз сдержал себя.

- Ну, хорошо, - сказал он, - ну, Быстрицын упразднит общину и разведет поросят...

- Не одних поросят! Это только один пример из множества! Тут целая система! скотоводство, птицеводство, пчеловодство, табаководство...

- И даже хреноводство, горчицеводство... пусть так. Допускаю даже, что все пойдет у него отлично. Но представь себе теперь следующее: сосед Быстрицына, Петенька Толстолобов, тоже пожелает быть реформатором а-ля Пьер ле Гран (Петр Великий). Видит он, что штука эта идет на рынке бойко, и думает: сем-ка, я удеру штуку! прекращу празднование воскресных дней, а вместо того заведу клоповодство!

- И опять-таки преувеличение! Клоповодство! Преувеличение, душа моя, а не возражение!

- Хорошо, уступаю и в этом. Ну, не клоповодством займется Толстолобов, а устройством... положим, хоть фаланстеров. Ведь Толстолобов парень решительный - ему всякая штука в голову может прийти. А на него глядя, и Феденька Кротиков возопиет: а ну-тко я насчет собственности пройду! И тут же, не говоря худого слова, декретирует:

жить всем, как во времена апостольские живали! Как ты думаешь, ладно так-то будет?

Увы! я даже не мог ответить на вопрос Глумова. Я страдал. Я так жаждал "отрадных явлений", я так твердо был уверен в том, что не дальше как через два-три месяца прочту в "нашей уважаемой газете" корреспонденцию из Паскудска, в которой будет изображено: "С некоторого времени наш край поистине сделался ареной отрадных явлений. Давно ли со всех сторон стекались мирские приговоры об уничтожении кабаков, как развратителей нашего доброго, простодушного народа, - и вот снова отовсюду притекают новые приговоры, из коих явствует, что сельская община, в сознании самих крестьян, является единственным препятствием к пышному и всестороннему развитию нашей производительности!" Да, я ждал всего, я надеялся, я предвкушал! И вдруг - картина! Клоповодство, фаланстеры, возвращение апостольских времен! И, что всего грустнее, я не мог даже сказать Глумову: ты преувеличиваешь! ты говоришь неправду! Увы! я слишком хорошо знал Толстолобова, чтобы позволить себе подобное обличение. Да, он ни перед чем не остановится, этот жестоковыйный человек! он покроет мир фаланстерами, он разрежет грош на миллион равных частей, он засеет все поля персидской ромашкой! И при этом будет, как вихрь, летать из края в край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько он перековеркает, сколько людей перекалечит, сколько добра погадит, покамест сам наконец попадет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го! Ведь были же картофельные войны, были попытки фаланстеров в форме военных поселений, были импровизированные, декорационные селения, дороги, города! Что осталось от этих явлений! И что стоило их коверканье и расковерканье?

- А я бы на твоём месте, - продолжал между тем Глумов, - обратился к Быстрицыну с следующей речью: Быстрицын! ты бесспорно хороший и одушевленный добрыми намерениями человек! но ты берешься за такое

дело, которое ни в каком случае тебе не принадлежит. Хороша ли сельская община или дурна, препятствует ли она развитию производительности или не препятствует - это вопрос спорный, решение которого (и в особенности решение практическое) вовсе до тебя не относится. Предоставь это решение тем, кто прямо заинтересован в этом деле, сам же не мудрствуй, не смущай умов и на закон не наступай! Помни, что ты помпадур и что твое дело не созидать, а следить за целостью созданного. Созданы, например, гласные суды - ты, как лев, стремись на защиту их! Созданы земства - смотри, чтобы даже ветер не смел венуть на них! Тогда ты будешь почтен и даже при жизни удостоишься монумента. Творчество же оставь и затем - гряди с миром.

- Но что же, наконец, делать? - воскликнул я с тоскою, - что делать, ежели, с одной стороны, для административного творчества нет арены, ежели, с другой стороны, суды препятствуют, земства препятствуют, начальники отдельных частей препятствуют, и ежели, за всем тем, помпадур обладает энергией, которую надобно же как-нибудь поместить!.. Где же исход?

- А ежели человек уж через край изобилует энергией, то существует прелестное слово "фюить", которое даже самого жестоковыйного человека по горло удовлетворить может!

- Фюить! помилуй! да это, наконец, постыдно!

- Постыдно, даже глупо, но до известной степени отвечает потребностям минуты. Во-первых, нечего больше говорить. Во-вторых, это звук, который, как я уже сказал, представляет очень удобное помещение для энергии. В-третьих, это звук краткий, и потому затрогивающий только единичные явления. Тогда как пресловутое зиждительство разом коверкает целый жизненный строй...»<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Там же, сс. 240 – 243.

Но неужели нет никакой надежды на лучшую жизнь, - спросит иной читатель. И как бы отвечая на этот запрос, Щедрин завершает свою эпопею утопией под названием «Единственный».

Этот необыкновенный помпадур даже среди необыкновенных был самый необыкновенный. Он был самым простодушным помпадуром в целом мире. Ни наук, ни искусств он не знал; но если попадалась под руку книжка с картинками, то рассматривал ее с удовольствием. В особенности нравилась ему повесть о похождениях Робинзона Крузо на необитаемом острове (к счастью, изданная с картинками). «В администрации он был философ и был убежден, что самая лучшая администрация заключается в отсутствии таковой.

... Иногда он развивал свои административные теории очень подробно.

- Всякий, - говорил он, - кого ни спросите, что он больше любит, будни или праздник? - наверное ответит: праздник. Почему-с? а потому, государь мой, что в праздник начальники бездействуют, а следовательно, нет ни бунтов, ни соответствующих им экзекуций. Я же хочу, чтоб у меня всякий день праздник был, а чтобы будни, в которые бунты бывают, даже из памяти у всех истребились!

Или:

- До сих пор так было, что обыватель тогда только считал себя благополучным, когда начальник находился в отсутствии. Сии дни праздновали и, в ознаменование общей радости, ели пироги. Почему, спрашиваю я вас, все сие именно так происходило? А потому, государь мой, что, с отъездом начальника, наставала тишина. Никто не скакал, не кричал, не спешил, а следовательно, и не сквернословил-с. Я же хочу, чтобы на будущее время у меня так было: если я даже присутствую, пускай всякий полагает, что я нахожусь в отсутствии!

Но что более всего привлекало к нему сердца - это административная стыдливость, доходившая до того, что он не мог произнести слово "сечь", чтоб не сгореть при этом со стыда».<sup>129</sup>

Выяснив, что в каждой из подписываемых им ежедневно бумаг содержалось указание сечь, он приказал не давать на подпись более одной, а впоследствии, когда в своих устремлениях достаточно укрепился, то и вовсе перестал бумаги подписывать. В своих жизненных принципах он руководствовался, в частности, тем, что явления не существует, если их существования не признавать. Так, в отношении французской революции 1789 года он заключил: просто-напросто умные люди об умных предметах промежду себя разговор хотели иметь, а господам французским квартальным показалось, что какие-то революции затеваются-с! Что же до каких-то назревающих и требующих разрешения дел, то он полагал, что нужно вести себя так, чтобы дело это «измором изныло» и тем самым к разрешению пришло.

Изучив вопрос о выборе помпадурши, он пришел к выводу, что большинство историй кончалось трагически и потому для себя решил быть предельно осторожным и никоим образом себе не навредить. Потому в конце концов его выбор пал на вдовую дочь содержателя кабака, которую он выбрал «за сахарное тело и за простоту».

Живя таким образом и приучив в конце концов к своему поведению все городское начальство, он добился того, что не только власть предержавшие, но и простые обыватели приобрели сытый и спокойный вид. В довершение ко всему он вообще перестал сноситься с внешним миром и город был забыт. Но когда о нем вспомнили, то увидев всеобщее благоденствие, сильно удивились. В изданном по этому случаю документе говорилось: «"Да ведомо будет всем и каждому, ... что лучше одного помпадура доброго, нежели семь тысяч злых иметь, на основании того общепризнанного правила, что даже

---

<sup>129</sup> Там же, с. 244.

малый каменный дом все-таки лучше, нежели большая, каменная болезнь"». <sup>130</sup>

На этом помпадурские истории завершились, но Щедрин дополняет текст еще несколькими рассказами о помпадурах, услышанных от иностранцев. В них в сжатом виде вновь перечисляются основные помпадурские качества и характеристики. Так, в частности, о назначении помпадура говорится. «У помпадура нет никакого специального дела; он ничего не производит, ничем непосредственно не управляет и ничего не решает. Но у него есть внутренняя политика и досуг. Первая дает ему право вмешиваться в дела других; второй - позволяет разнообразить это право до бесконечности» <sup>131</sup>. Однако подобного рода наблюдения не добавляют ничего существенного к тому, что было сказано Щедриным ранее.

Обращение к Щедрину как одному из ярких выразителей русского мировоззрения наряду с прочим предполагает и знание о том, как к нему в этой связи относились его современники. Как и в случаях с другими философствующими литераторами важно понимать - осознавал ли сам автор и его коллеги по литературе во-первых, его намерение сказать нечто, относящееся именно к мировоззрению россиян и, во-вторых, как это сказанное оценивали современники. Напомню, что в отношении, например, И.С. Тургенева и А.И. Гончарова адекватного понимания того, что они делали в плане анализа русского мировоззрения, впрочем, как и сам факт анализа, практически не замечался не только современниками, но и литературоведами и философами советского времени.

Щедрину в этом смысле не повезло еще сильнее. Прежде всего, многие из создаваемых им образов, равно как и оценка всего им совершаемого в плане анализа российской действительности грубо (если не сказать примитивно) использовалось в политических целях деятелями коммунистического толка, Ульяновым-Лениным прежде всего. Приведу одну

---

<sup>130</sup> Там же, с. 262.

<sup>131</sup> Там же, с. 276.

из «глубоких» оценок, высказанных этим политиком: Щедрин учил русское общество «различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы».<sup>132</sup>

Что же касается современников Щедрина, то они так же не проявили в оценках его творчества достаточной прозорливости. Вот как, например, отзывался об «Истории одного города» известный умеренно-либеральный западник А.С. Суворин, в своей журналистской и писательской деятельности исходивший из принципов широкой политической свободы, терпимости и неприятия узкого национализма. Всерьез отнесясь к представленной в «Истории» хронологии (щедринский Глупов основан в 1762 году), образу глуповского летописца и сравнив реально происходившие в истории России события с сатирическими фантазиями Щедрина, критик задается вопросом: для чего это написано? В реальной истории страны не было всей этой фантазмагии, да и русский народ вовсе не таков, чтобы по воле начальства дать себя «в кучу сложить и с четырех концов запалить». И, стало быть, написано это «для забавы и смеха, рассчитанных на читателей снисходительных к здравому смыслу, к художественной правде и неразборчивых на юмор».<sup>133</sup> Суворин даже пытается укорить Щедрина, обращая наше внимание на высоты мировой сатиры – произведения Рабле, Свифта и Гоголя. Нельзя, говорит он, «отвергать народ, отвергать его здравый смысл и даже простую его житейскую сообразительность... Юмор не значит ни смех для смеха, ни карикатура для карикатуры».<sup>134</sup> И отчего Щедрин, которому, как признает Суворин, свойственен высокий талант, вдруг опустился до небывальщины и пустого высмеивания?

В этом же ключе, хотя и с более серьезным подтекстом, обрушивается на врага русского народа М.Е. Салтыкова-Щедрина его присяжный защитник Ф.М. Достоевский. (Слова «враг» и «защитник» не присутствуют в тексте

---

<sup>132</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 43.

<sup>133</sup> Библиотека русской критики. Критика 70-х годов XIX века. М., «Аст. Издательство «Олимп»», 2002, с. 342.

<sup>134</sup> Там же, с. 352.

Федора Михайловича, однако именно так выходит по содержанию его «критики»). В отличие от Суворина, он не признает автора «города Пупова» (так он пытается лишний раз «уколоть» Щедрина) сколько-нибудь талантливым литератором. Более того: Щедрин, оказывается, только мелкая и злобная «шавка», которая ждала и наконец обрела своих литературных хозяев. Исполняя их волю, Щедрин «бросался на людей без причины, ни за что, а так, чтобы исполнить долг юмористики. Иногда его хвалили и гладили по головке», а «...он без зазору лял, глумился и срамил самых честных и толковых людей, наряду с паскуднейшими; была бы только юмористика».<sup>135</sup> Щедрин, по мнению Достоевского, «роется в дрянном положении, он копается в нем, он *исчерпывает* его; он как бы наслаждается этим исчерпыванием, нюхает это дрянное положение и рад тому, что нюхает, «скверно, так пусть же вот еще скверней будет!»<sup>136</sup>

Я думаю, что к теме о том, как русская литература «роется в скверном положении» у меня скоро будет возможность обратиться вполне содержательно, поскольку впереди анализ творений самого Федора Михайловича. А вот что касается глумления и лая без причины, то здесь провидец Достоевский хотя и сообщил миру о рождении в святой Руси бесовского отродья, все же своей фантазией не достиг провидения всех тех кошмаров, которые бесы, используя многие исконные характеристики этого самого народа, устроили-таки в XX столетии ад на одной шестой части земной суши. И даже провидения Щедрина (по воле начальства «нас в кучу сложи и с четырех концов запали») на самом деле окажутся недостаточно реалистичными: не «нас сложи», а сами себя по воле начальства в кучу складывали и с четырех концов зажигали. Впрочем, все это еще впереди, в веке XX.

\* \* \*

---

<sup>135</sup> Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в тридцати томах. Л., Наука, 1980. Т. 20, с. 119.

<sup>136</sup> Там же, с. 120.

Завершая работу над творчеством «раннего» Щедрина, хотел бы отметить следующее. В анализ заявленной темы «новых» людей автор «Истории одного города» не вносит нового с точки зрения изобретения человеческих или профессиональных типов, неизвестных ранее в общественной жизни. Новаторами в этом отношении могут считаться, например, Чернышевский с его героями – Верой Павловной, Лопахиным, Кирсановым и Рахметовым, равно как и Гончаров с образом Андрея Ивановича Штольца.

«Новые» люди «по Щедрину» – это хорошо известные русскому читателю «старые» типы, взятые, однако, с прежде не рассматривавшейся столь подробно стороны – как управляющие и управляемые. При этом, управляемость впервые анализируется как тотальность, как процесс, который охватывает все стороны не только деятельности, но самой жизни – всех сфер существования человека, вплоть до распоряжения его пребыванием на земле. Во всех произведениях Щедрина обыватели – только игрушки в руках всемогущей и вездесущей власти, живущие «до поры, до времени». И власть, рассмотренная во многих вариантах, общим знаменателем имеет одно: это обывательское существование, саму жизнь людей по любому, самому пустяшному собственному произволу прекратить.

В этом ракурсе рассмотрения российской действительности Щедрин выступает как философствующий художник, впервые начавший в отечественной гуманитарной традиции анализ темы тоталитаризма, широко представленной в прозе и поэзии XX столетия, когда тоталитаризм из первых ростков самодержавного деспотизма разросся в до сей поры невообразимые и, тем более, невиданные заросли коммунистического произвола. Таким образом, герои Щедрина, сами по себе являющиеся вполне «старыми» русскими художественными типами, вместе с тем, оказываются вполне «новыми», будучи представлены с необычной стороны.